

Бразилия, Джон Апдайк

За сорок лет писательского труда Джон Апдайк завоевал огромную популярность в США и во всем мире. Его имя прочно утвердилось в галерее титанов американской литературы – таких, как Стейнбек, Фолкнер, Хемингуэй.

Роман Апдайка «Бразилия» можно назвать современной трактовкой легенды о Тристане и Изольде. Правда, действие перенесено с суровых кельтских долин в Латинскую Америку, да и герои намного откровеннее в выражении своих чувств, но главное осталось – настоящая любовь преодолевает все преграды: расовую и сословную непримиримость, голод, нужду.

Джон Апдайк
Пляж
Квартира
Дядя Донашиану
Лачуга
Подсвечник
Сан-Паулу
Шикиниу
Ранчо
Бразилиа
Два брата
Завод
Автобусная станция
Кафе-мороженое
Под звездами
Гойас
Прииск
Самородок
Мату Гросу
Нападение
Одни
Спасение
Становище
Столовая гора
Снова становище
Снова одни
Снова Мату Гросу
Снова Бразилиа
Снова Сан-Паулу
Снова квартира
Снова пляж
Послесловие

Джон Апдайк
Бразилия
То участь всех: живущее умрет
И сквозь природу в вечность перейдет.
У.Шекспир. «Гамлет»

Приветствуем тебя, бразильский брат!

Есть место за столом —

лучом, блеснувшим с севера,

летит улыбка, сокращая расстоянья!

Уолт Уитмен. «Рождественское поздравление»

Пляж

Черное — оттенок коричневого. Как и белое, если приглядеться.

На Копакабана, самом демократичном, многолюдном и опасном пляже Рио-де-Жанейро, все краски сливаются в один ликующий цвет ошеломленной солнцем человеческой плоти, покрывающей песок вторым, живым слоем кожи.

Много лет назад, когда в далекой Бразилии правили военные, спустя несколько дней после Рождества Тристан, искупавшись в море, вышел на берег, ослепленный солью океанских волн за отмелью и полуденным сиянием пляжа; тела людей дымились на песке. Лучи декабрьского солнца с такой силой обрушивались на землю, что над линией прибоя то и дело возникали кольца радуг, которые сверкали над головой юноши подобно резвящимся духам. Возвращаясь к поношенной футболке — она же служила ему полотенцем, — Тристан, несмотря на резь в глазах, заметил белокожую девушку в открытом купальнике там, где толпа загорающих редела. За ее спиной виднелись волейбольные площадки, пешеходная дорожка Авенида-Атлантика, вымощенная волнистыми черно-белыми полосами.

Она была с другой девушкой. Та, пониже ростом и посмуглее, смазывала подругу кремом; от холодного прикосновения белокожая девушка выгибала спину, поднимая в такт движениям подруги грудь и округлые лоснящиеся ягодицы. У Тристана щипало глаза, но привлекла его не белизна девичьей кожи. На знаменитый пляж приходило много чрезвычайно белых иностранок из Канады и Дании, а также бразильских женщин немецкого и ирландского происхождения из Сан-Паулу и с юга страны. Его привлекла не белизна, а необычный цвет купальника, который сливался с ее кожей, создавая впечатление природной публичной наготы.

Впрочем, не совсем полной: на девушке была черная соломенная шляпка с плоской тульей, загнутыми кверху полями и блестящей черной ленточкой. Именно такую шляпку, подумалось Тристану, девушка высшего света из Леблона наденет на похороны своего отца. — Ангел или шлюха? — спросил он своего единоутробного брата Эвклида.

У Эвклида было плохое зрение, и он часто пытался скрыть свою близорукость за философскими рассуждениями.

— Разве девушка не может быть и тем, и другим? — спросил он.

— Какая куколка, она создана для меня, — внезапно произнес Тристан, повинувшись импульсу, пришедшему из самых глубин его существа, оттуда, где картина его судьбы складывалась из торопливых, неуклюжих мазков кисти, одним движением замазывающей целые фрагменты его жизни.

Он верил в духов и судьбу. Ему исполнилось девятнадцать, и он не был беспризорником, поскольку жива была мать, но мать его торговала

своим телом, хуже того, напившись, она спала с мужчинами и бесплатно, плодя детей, как головастика, в человеческом болоте беспамятства и случайной страсти. Эвклид был младше на год, но оба знали о своих отцах лишь то, что они у них разные, о чем свидетельствовали очевидные генетические различия в облике братьев. Они учились в школе ровно столько, чтобы научиться читать вывески и рекламы, а промышляли на пару, занимаясь воровством и грабежами, когда голод становился невыносимым. Они одинаково боялись и военной полиции, и банд, стремившихся поглотить их. Уличные банды состояли из детей, безжалостных и прямолинейных, как волки. Рио в те годы еще не был столь оживленным, нищим и преступным, как сейчас, но тогдашним его жителям казалось, что город кишит машинами, ворами и негодьями. С недавних пор у Тристана появилось чувство, что он перерос воровской мир и должен искать путь наверх, в мир рекламы, телевидения и самолетов. Теперь духи уверили его, что та белокожая девушка и есть искомый путь наверх.

Сжимая в руке мокрую, облепленную песком футболку, он пошел по полуголому людскому лежбищу к девушке, которая, почуяв охотника, приняла гонорный вид. Его выцветшую оранжевую футболку украшала надпись «Одинокая звезда» — название ресторана для америкашек в Леблоне. В потайном кармашке внутри черных шорт, настолько тесных, что под ними весомо проступали половые органы, он хранил лезвие бритвы в чехле, который сам аккуратно вырезал из толстого обрезка кожи. Бритву он называл «Бриллиант». Синие вьетнамки Тристан спрятал под колючим кустиком у края тротуара.

Он вспомнил, что у него есть еще кое-что: кольцо медного цвета с буквами «ДАР» на маленькой овальной печатке, сорванное с пальца старой американки; надпись эта бесконечно изумляла его, потому что означала «дарить». Теперь он решил отдать кольцо белокожей красавице, которая гордо, всем своим телом источала страх и вызов при его приближении. Хотя издалека девушка выглядела высокой, Тристан оказался на ладонь выше. Запах ее кожи — то ли крема, то ли пота, выступившего от удивления и страха, — напомнил ему болотный смрад, исходивший от матери, слабый аптечный дух, который он запомнил с той поры, когда в раннем детстве страдал от глистов или болел малярией. В те дни пьянство еще не разрушило организм матери, и во мраке хижины, лишенной окон, она еще оставалась источником милосердия и теплой, настойчивой заботы. Она, наверное, выпросила лекарство у доктора из миссии у подножия холма, по ту сторону троллейбусной линии, где начинались дома богачей. Тогда его мать сама была еще совсем девочкой, с телом почти столь же упругим, как и у этой, хотя и не таким стройным, а Тристан был уменьшенной копией самого себя — его пухлые ручки и ножки походили на поднимающуюся опару, а глаза сверкали черными пузырьками. Но он не мог помнить этого, не мог видеть себя в тот момент, когда этот еле уловимый аптечный запах запечатлелся в его памяти, словно долгий плач во сне. Теперь же соленый морской ветер коснулся тела этой светловолосой куколочки и разбудил Тристана под ярким полуденным солнцем.

Пальцы его сморщились от морской воды, и кольцо не поддавалось, когда он начал стаскивать его с мизинца. Старая американка с кудрявыми седыми волосами носила его на другой руке, там, где носят обручальное кольцо. Он настиг ее под разбитым уличным фонарем в Синеландии, когда муж ее погрузился в изучение фотографий мулаток-танцовщиц с рекламы находившегося за углом ночного клуба. Тристан приставил лезвие бритвы к ее щеке, и она обмякла, как шлюха, эта старая седая американка, так испугавшаяся царапины на своем морщинистом лице, хотя от могилы ее отделяло всего два-три года. Пока Эвклид резал ремешок сумочки, Тристан стаскивал медное кольцо, и их пальцы сплелись, как у любовников. Теперь же он протягивал кольцо незнакомой девушке. В ее лице под черной шляпкой было что-то обезьянье — его нижняя часть с крепкими зубами слегка выдавалась вперед и, казалось, улыбалась, хотя на губах у нее улыбки не было. А губы у нее были полные, особенно верхняя.

— Могу ли я преподнести вам этот скромный подарок, сеньорита?

— Что побудило вас к этому, сеньор? — За столь вежливым обращением тоже чудилась улыбка, хотя момент был напряженный, и подружка девушки, сидевшая на корточках, явно испугалась и прикрыла рукой груди в лифчике, будто эти сокровища могут украсть. Но два смуглых мешка жира есть два смуглых мешка жира, не более того, так что Тристан даже взглядом не повел в ее сторону.

— Вы красивы и не стыдитесь своей красоты, а такое встречается редко.

— Стыдиться несовременно.

— Но многие представительницы вашего пола стыдятся до сих пор. Как ваша подруга, например, — она же прикрыла свои буфера. Глаза другой девушки сверкнули, но она взглянула на Эвклида, и ее возмущение тут же угасло; она захихикала. Тристан почувствовал легкое отвращение, услышав заговорщицкий смешок пленницы. Его воинственный дух всегда тревожило женское стремление к капитуляции. Эвклид подошел на полшага ближе, как бы занимая отданную территорию. У него было хмурое, широкое лицо цвета темной глины, безжалостное и озадаченное. Его отец, наверное, был метисом, а в жилах Тристана текла самая чистая африканская кровь, такую только можно найти в Бразилии.

Сверкающая белая девушка держалась гордо.

— Красивой быть опасно, именно поэтому женщины научились стыдиться, — заявила она Тристану, вздернув подбородок.

— С моей стороны вам ничто не угрожает, клянусь. Я не причиню вам вреда.

Клятва прозвучала торжественно, юноша попытался придать своему голосу мужской тембр. Девушка изучала его: округлые негритянские черты его лица никогда не знали обжорства, выпуклые глаза по-детски блестели, надбровные дуги возвышались таким крепостным валом, завитушки черных волос едва заметно отсвечивали медью, в белом сиянии солнца некоторые волоски словно горели красным пламенем. В его лице чувствовались фанатизм и отрешенность, но, как он и говорил, для нее он не был опасен. Она проворно протянула руку и коснулась кольца. «Дар», — прочла она и игриво напрягла бледную кисть, чтобы Тристан надел

кольцо на палец. Безымянный палец девушки — именно так носила кольцо американка — оказался слишком тонок, кольцо держалось только на среднем. Она подняла его перед собой так, чтобы печатка сверкнула на солнце, и спросила у подруги:

— Тебе нравится, Эудошия?

Эудошия была в ужасе от нового знакомства.

— Отдай его, Изабель! Это плохие уличные мальчишки. Оно наверняка краденое.

Эвклид посмотрел на Эудошию прищурившись, будто вглядываясь в ее встревоженное выразительное лицо и темную, цвета терракоты, кожу, такую же, как и его собственная, и сказал:

— Весь мир состоит из краденого. Вся собственность — воровство, и те, кто украли большую часть, пишут законы для остальных.

— Они хорошие ребята, — успокоила Изабель спутницу. — Чем это нам повредит, если мы позволим им полежать рядом с нами на солнце и поговорить? Нам же с тобой скучно вдвоем. У нас нечего украсть, кроме полотенец и одежды. Они могут рассказать нам о своей жизни. А могут и наврать — это тоже интересно.

Так уж получилось, что Тристан и Эвклид почти ничего не говорили о своей жизни, которой они стыдились. Мать — шлюха, а не мать, дом — не дом. У них не было жизни, одна непрерывная суета и беготня в поисках пропитания. Девушки же, будто разговаривая только друг с другом, выставляли напоказ свою роскошную легкомысленную жизнь, словно демонстрировали шелковое нижнее белье. Они описывали монашек из школы, в которой учились вместе, — те настолько походили на мужчин, что у них даже усы росли. Они говорили о тех, кого молва считала лесбиянками, живущими в причудливом браке — одни из них были «петухами», другие «курочками»; они говорили о тех, что пытались совратить учениц, из похоти раболепствовали перед священниками, что платили садовникам, чтобы те с ними переспали; о монашках, которые увешивали стены своих келий портретами Папы Римского и мастурбировали, глядя на его встревоженное, с кисло поджатыми губами лицо. Они словно читали книгу, книгу секса, словесные кружева, сплетенные ловкими пальцами усевшихся в круг девушек, и их хихиканье посверкивало в этом словесном узоре, как серебряная нить на полотне. Тристан и Эвклид выросли в мире, где секс был заурядным товаром, как бобы или фаринья[1], который стоит не больше нескольких измятых крузейро, брошенных на деревянный стол, покрытый винными пятнами; они потеряли невинность, не достигнув и тринадцати лет, и в неловком молчании зачарованно слушали, как девушки развивали, веселясь до слез, свои фантастические предположения.

Рассказывая о монастырской школе, они упомянули о запретном радиоприемнике, конфискованном одной из монахинь, и это дало Тристану возможность показать свое знание самбы и шору, боса-новы — новых музыкальных стилей, созданных звездами бразильской эстрады — Каэтану, Жилия, Шикю. Они заговорили об электронном рае, сиявшем высоко над их головами, где певцы и киноактеры, звезды футбола и сверхбогачи проплывали обсыпанными блестками ангелами, — этот мир словно спустился на землю и объединил их. Искры любви и ненависти, максималистские юношеские заявления

перелетали от одного к другому, уравнивая всех и бесконечной удаленностью от этого рая, и тем, что все они имеют одинаковые тела с четырьмя конечностями, двумя глазами и одной кожей. Подобно набожным крестьянам Старого Света, каждый из них верил в то, что этот рай, на невидимых волнах посылавший им вести о себе, обращал свой улыбающийся благостный лик персонально к нему, равно как и в то, что недостижимая вершина небесного купола располагается именно над его обращенным вверх взглядом.

Раскаленный песок припекал снизу; властное бессилие постепенно пригасило их разговор. Когда Эвклид и Эудошия, поколебавшись, дружно встали и пошли к воде, над оставшейся парой нависло напряженное молчание. Рука Изабель, на которой блестело краденое кольцо, прикоснулась к темной, цвета полированного серебра, ладони Тристана.

— Ты хочешь пойти со мной?

— Да, куда угодно, — ответил Тристан.

— Тогда пошли.

— Прямо сейчас?

— Сейчас самое время, — сказала она, серо-голубыми глазами встретившись с его взглядом, и ее пухлая верхняя губа торжественно и задумчиво приподнялась. — Для нас.

Квартира

Свое полупрозрачное пляжное платье цвета маракуйи Изабель надевать не стала, решив уйти с пляжа в купальнике и сандалиях с белыми ремешками из тонкой кожи. Они пошли по знаменитому тротуару Авенида-Атлантика с черно-белыми извивающимися полосами мостовой. Она свернула платье и полотенце, уместив их на руке так, что в конце концов какой-то прохожий заглянул в этот яркий сверток, надеясь увидеть личико младенца. Черная, будто выкрашенная соком плодов женипапу соломенная шляпка девушки плыла впереди Тристана летающей тарелкой, распустив по ветру черную шляпную ленточку. Изабель шла неожиданно быстрой спортивной походкой, и Тристану пришлось догонять ее вприпрыжку. Из чувства приличия он натянул грязную футболку с надписью «Одинокая звезда» — названием ресторана для гринго — и звонко зашлепал по мостовой поношенными синими вьетнамками.

Рослая белокожая девушка, которую длинные ноги делали еще стройнее, шагала вперед со слепой решимостью лунатика, как будто малейшее сомнение могло остановить ее. Она пошла на юг, к форту, потом повернула направо, к Ипанеме — то ли на улицу Авенида-Ранья-Элизабет, то ли на Руа-Жуакима-Набуку, — Тристан был настолько растерян и напуган, что не заметил, куда именно они свернули. Здесь, под сенью высотных домов и деревьев, среди магазинов, ресторанов и зеркальных фасадов банковских зданий со швейцарами и стоящей навтыжку охраной, едва прикрытая нагота девушки мерцала призрачным светом и привлекала еще больше взглядов. Тристан старался на всякий случай держаться поближе к ней, но девушка была отрешена и неприступна, ее ладонь стала холодной как лед, и Тристан почувствовал себя неуклюжим чужаком. В мире шикарных домов и охраняемых улиц жоаком была она. Под бордовым навесом с номером девушка свернула в темный вестибюль, консьерж-японец за высокой черной с зелеными прожилками мраморной конторкой удивленно захлопал ресницами, но вручил ей маленький ключ и нажал кнопку, открывшую внутреннюю стеклянную дверь.

Проходя через порог, Тристан чувствовал себя так, будто его просвечивают рентгеном. У него зачесалось в паху, там, где хранилось лезвие бритвы, а член в тесных влажных шортах скукожился до размера орешка кешью.

Серебристые металлические двери лифта украшали треугольные пластины, похожие на узорчатую ткань. Лифт скользнул вверх, словно клинок из ножен. Затем они прошли по короткому коридору с обоями в полоску того же сочного цвета, что и ее платье, но более мягкого оттенка, и остановились перед навощенной до блеска дверью красного дерева, набранной из множества рельефных панелей. Девушка повернула маленький, не больше его бритвы, ключ, и дверь открылась. За порогом царил тишина роскошной обстановки. Повсюду вазы, ковры, подушки с бахромой. С полок глядят тисненные золотом корешки книг. Тристану еще не доводилось бывать в подобных местах, он почувствовал, как его дыхание и движения теряют прежнюю легкость.

— Чей это дом?

— Моего дяди Донашиану, — ответила девушка. — Не бойся, тебе не придется с ним встречаться, он весь день на работе, в центре. Или играет в гольф и выпивает с друзьями. Собственно, в этом и заключается его работа. Я велю служанке принести что-нибудь выпить и нам. А может, тебе хочется есть?

— О нет, сеньорита, я не голоден. Стакана воды или немного суко[2] будет достаточно.

Тристан огляделся, и у него пересохло во рту. Сколько же всего отсюда можно украсть! За один только серебряный портсигар или два хрустальных подсвечника они с Эвклидом выручили бы столько, что хватило бы на целый месяц. А вот картины с квадратами, кругами и свирепыми яркими мазками вряд ли дадут много: если они кому и были дороги, так это автору, да и то лишь в момент, когда он их творил. Зато книги сверкают золотым тиснением. Тристан изумленно оглядел ряды книжных полок, уходящие под потолок на высоту пальмы. Вдоль двух стен комнату опоясывали антресоли, а потолок являл собой купол из стеклянных розовых лепестков с морозным узором, из вершины которого на столь же длинной, как у церковного светильника, цепи свисала громадная люстра с изгибающимися медными буквами «S» рогами. Для Тристана слово «дом» означало лишенное солнца темное логово хижины. Здесь же было столько света, что ему казалось, будто он стоит под открытым небом, в каком-нибудь укрытом от ветра месте. Сверкающая тишина приняла его.

— Мария! — ровным голосом позвала Изабель.

Пухленькая молодая служанка пришла не спеша, словно ей пришлось миновать анфиладу комнат, презрительно взглянула на Тристана, и в ее глубоко посаженных глазах мелькнул ужас. Покрытые оспинами щеки служанки были припухшие, как это случается у индианок, а может, ее просто недавно побили. Причудливая смесь генов окрасила ее кожу в темный табачный цвет. Она наверняка прочла мысли Тристана о воровстве и сочла себя выше этого. Как будто жить в богатом доме и щеголять в чистой одежде, выданной хозяевами, — это не то же самое воровство.

— Мария, — произнесла Изабель, стараясь, чтобы ее голос не прозвучал грубо или испуганно, — принеси два витаминных напитка — банановый или из авокадо, если еще есть. Это для меня. А моему другу... Принеси ему то же самое, что ты сама ела на обед. Его зовут

Тристан. Хочешь сандвич? — спросила она его.

— Клянусь, в этом нет необходимости, — возразил Тристан с великодушием, которое выдавали в нем высокий лоб, блестящие выпуклые глаза и отрешенное выражение лица.

Однако, когда на мозаичном столике появилось блюдо с подогретым акараже, поджаристыми шариками ватапы[3], креветками и перцем, он набросился на еду, как волк. Тристан давно научился подавлять чувство голода, но вид пищи сводил его с ума, и он ничего не оставил на блюде, буквально вылизав его. Девушка подвинула к нему свою тарелку. Он проглотил и эту порцию.

— Кофе? — спросила Мария, пришедшая убрать со стола. Она уже не так сильно источала ненависть, и Тристан ощутил в ее поведении легкие заговорщицкие оттенки — так неуловимо отдает запахом масла денде пища, приготовленная на севере. Может, в странном доме девушки и ее дяди уже было что-то такое, чего служанка не одобряла. Как и многие люди из низов, она была готова к различным проделкам и переменам, ибо для них мир не представляет собой драгоценную реликвию, которую следует хранить вечно под стеклом.

— Да, принеси, пожалуйста, и оставь нас одних, — ответила Изабель.

Она сняла шляпку; светлые, длинные, мерцающие волосы подчеркивали ее наготу, и Тристану снова ударил в глаза слепящий свет, как и тогда, на пляже, когда он вышел из моря.

— Я тебе нравлюсь? — спросила она, отводя глаза и краснея.

— Да, даже больше того.

— Ты думаешь, я вертихвостка? Дрянная девчонка?

— По-моему, ты богата, — ответил он, оглядывая комнату, — а богатство делает людей странными. Богатые делают что хотят и не знают цену вещам.

— Но я не богата, — возразила Изабель, и в голосе прозвучало недовольство и раздражение. — Мой дядя богат, отец тоже — он живет в Бразилиа, — но лично у меня нет ничего. Они держат меня, как избалованную рабыню, чтобы после монастырской школы выдать за какого-нибудь паренька, который со временем вырастет в такого же, как они, — лощеного, вежливого и равнодушного господина.

— А где твоя мать? Что она думает о твоём будущем?

— Моя мать умерла. Она хотела подарить мне младшего брата, а он запутался в пуповине по пути на свет Божий и в предсмертных судорогах разорвал ее матку. По крайней мере, мне так сказали. Мне было четыре года, когда это случилось.

— Как печально, Изабель. — Хотя Тристан и слышал на пляже, что именно так Эудошия называла подругу, сам он еще не произносил ее имя вслух. — У тебя нет матери, а у меня нет отца.

— Где же твой отец?

Тристан пожал плечами:

— Может, умер. Пропал, во всяком случае. У матери было много мужчин, и она не уверена, от кого я родился. Мне девятнадцать, значит, это произошло почти двадцать лет назад. Она много пьет и ни о чем не печалится.

И все же однажды мать достала ему нужное лекарство. Она кормила его грудью, выбирала вшей из кудрявой шевелюры, искала глистов в какашках.

— Мне еще только восемнадцать, — объявила Изабель, чтобы

снова привлечь его внимание.

Он, улыбнувшись, осмелился дотронуться до ее сверкающих волос, похожих на ночные огни Рио, открывающиеся со склонов гор.

— Я рад этому. Мне бы не хотелось, чтобы ты была старше или богаче меня.

Она не убрала его руку, но на улыбку не ответила.

— Ты подарил мне кольцо. Теперь мне нужно подарить тебе что-нибудь в ответ.

— В этом нет необходимости.

— Подарок, который я имею в виду, станет подарком и для меня.

Это время. Время моей жизни.

Она встала и, потянувшись к нему, прижалась губами к его губам, скорее обозначая поцелуй, как это делают в журналах и на экране телевизора, чем целуя его по-настоящему. До этого момента жизнь ее состояла в изучении историй чужих людей, теперь она создавала свою собственную. Она повела его за собой к металлической винтовой лестнице, окрашенной в матово-розовый цвет, и начала подниматься на второй этаж. Изабель шла впереди по вьющейся лестнице, и тело ее распадалось на множество полосок плоти, разделенных треугольниками ступенек. Ведя пальцем по перилам, словно по воде, Изабель прошла по балкону как раз на уровне витой люстры и свернула в свою комнату, все еще наполненную девчоночьими плюшевыми зверюшками и увешанную плакатами с изображениями патлатых певцов из Англии. Тристан почувствовал, как ему стало легче дышать, словно здесь, в детской, ветер богатства бил в лицо не так свирепо. Изабель изогнулась в привычном небрежном танце, выполненном с полувопросительной, полувызывающей усмешкой на храброй обезьяньей мордашке, свела лопатки — и купальник исчез. Однако она не стала выглядеть более обнаженной, чем прежде. Ему никогда еще не доводилось видеть такую прозрачную и некудрявую поросль на женском лобке. Ее бледно-коричневые соски набухли от соприкосновения с воздухом и от его взгляда.

— Нам нужно помыться, — решительно сказала она.

В мраморном кубе ванной комнаты множество кранов включали самые разные струйки душа — от букета тонких иголочек до хлестких жгутов воды, барабнящих с частотой учащенного пульса. Он стоял рядом с ней под водопадом постепенно теплеющих струй и мылил ее податливую шелковистую кожу, пока та не покрылась скользким белым жиром, потом она мылила его, и он чувствовал, как член его из орешка кешью превращается в банан, а потом и в налитой початок, который вот-вот разорвет от собственной тяжести. Она с серьезным видом мылила его там, наклонив овальную головку под струи воды, чтобы получше разглядеть набухшие вены, багрово-черную кожу и одноглазую сердцевидную головку члена. Пока она изучала его, поток воды раздвинул ее волосы, и Тристан неожиданно увидел, что скальп у девушки розовый, а не белый, как ему представлялось. Выключив воду, она проговорила, все еще разглядывая его и проводя пальцем по одной из вен:

— Так вот он какой. Он уродлив, но безобиден — как жаба.

— Так ты еще ни разу?.. — спросил он смущенно, довольный тем, что почти мгновенно запахнулся пушистым широким, как одеяло, полотенцем, которое она достала из шкафчика. Вся ванная была в зеркалах, и он увидел себя в них искромсанным на куски белого и черного. Лицо его, казалось, принадлежало суровому воину, которого

одновременно фотографируют со всех сторон.

— Нет, ни разу. Это пугает тебя, Тристан?

Да, это его пугало, ибо поскольку она была девственница, то совокупление с ней приобретало некий религиозный смысл, становясь разновидностью вечного преступления. Но кровь, неуправляемо пульсировавшая в початке под просторным, как халат, полотенцем, вела его следом за этим видением, которое шло перед ним, накинув полотенце, словно пончо, — так, что остались обнаженными упругие ягодицы. Когда девушка нагнулась у мраморного края ванны, чтобы подобрать с пола его черные плавки, белые ягодицы ее раздвинулись, и он с некоторой брезгливостью заметил полоску коричневой кожи несмываемого пятна вокруг анального отверстия.

Встряхнув его плавки, чтобы аккуратно сложить их, перед тем как повесить сушиться, она вдруг удивленно вскрикнула. Бритва в маленьком кармашке выскользнула из грубых ножен и порезала ей большой палец. Она показала ему колечко белой кожи и медленно набухающую рубиновую каплю. Это дурное предзнаменование тоже напугало его: он принесет ей страдания.

И все же, с гримасой боли облизывая палец и вытирая ранку уголком полотенца, она продолжала медленно идти к узкой девичьей кровати, покрытой светло-зеленым стеганым одеялом, цветом, напоминающим накипь на глиняных кувшинах и ночных горшках, которые Тристан видел в Фавеле — полоску грязи, идущую вдоль самого края сосудов. Над медными прутьями изголовья висела маленькая лоснящаяся картинка, на которой Мадонна с нимбом, похожим на сдвинутую на затылок шляпку, держала на руках неестественно крупного и серьезного младенца Иисуса с неуклюже растопыренными толстенькими пальчиками. С серьезным и решительным видом Изабель сняла картину со стены и сунула ее под кровать. Когда она улеглась поверх одеяла, несколько зверюшек со стеклянными глазами упало на пол, и девушка быстро распихала их по полкам, стоявшим около кровати, — на радость ребенку выкрашенным в свое время во все цвета радуги. Сделала она это быстро и ловко, а потом плюхнулась прямо на середину узкой кровати, так что лечь ему оставалось только на нее. Когда он послушно взобрался на Изабель, она уперлась в его грудь кончиками пальцев, будто хотела задержать, остановить на мгновение. Ее зрачки, словно сотканые из хрупких серо-голубых нитей, почти сердито смотрели в его глаза.

— Я не думала, что он будет таким большим, — призналась она.

— Нам не обязательно заниматься этим прямо сейчас. Мы можем просто обниматься, ласкать друг друга и разговаривать. Можно встретиться завтра.

— Нет. Если мы будем ждать, это никогда не случится. Наше время пришло.

— Мы можем встретиться снова завтра на пляже.

— Кураж пройдет. Вмешаются другие люди.

Неуверенно, не отрывая глаз от его лица, словно ожидая указаний, она раздвинула свои белые ноги.

— У тебя было много девушек? — спросила она.

Он кивнул, стыдясь того, что далеко не все они были девушками, что вначале были женщины вдвое старше его, пожилые пьяненькие подруги матери, которые потчевали его кусочками своего тела, словно кормили забавного поросенка.

— Тогда что ты мне посоветуешь?

Головка его члена, похожая на фиолетовое сердечко, вырванное из груди какого-нибудь кролика, покоилась на прозрачной поросли ее лобка. Обычно женщины брали его своей рукой и сами направляли внутрь. Эта же девушка неуклюже приподняла ягодицы и смотрит ему в глаза, прося совета. Она увидела, как потемнели белки его глаз, почти сливаясь с черными зрачками, и он снова заговорил низким мужским голосом:

— Я советую тебе расслабиться так, чтобы мое наслаждение и твое слились воедино. Это будет непросто — в первый раз. Будет больно.

В его дыхании чувствовался острый аромат акараже.

Он провел рукой по ее промежности, нашел место, где липкие срамные губы начали расходиться, и направил туда свой член. Немного спустя, словно Сомневаясь в правильности собственного совета, он спросил:

— Тебе больно?

Изабель окаменела под ним, пытаясь преодолеть инстинктивное неприятие чужой плоти. На бледной коже внезапно проступил теплый пот. Она кивнула, нервно дернув подбородком, как если бы никакая другая часть ее напряженного тела не осмеливалась пошевелиться.

Он и сам вспотел, встревоженный темнотой ее девственного лона.

Трудно чувствовать себя любовником, а не избалованным поросенком, пожирающим помои. И все же он знал: за темной преградой, стоящей перед ними, их ожидает рай.

— Мне остановиться? Я могу выйти.

На сей раз ее подбородок яростно дернулся из стороны в сторону.

— Да делай же это, Бога ради, — на всякий случай сказала она.

Он ринулся в темноту, и с каждым ударом в глазах его под сжатыми веками все больше краснело. Откуда-то из недр его существа, из-под того места, где гнездится голод, пытался пробиться через зажатый проход поток света. Тристан задыхался, холодел, давление света усиливалось, и пятки его задрожали, когда он почувствовал, что свет вот-вот плеснет через край, и, наконец, свет изменился высокой, ошеломляющей дугой. Его судороги напугали девушку, и она забыла о своем теле. Нежно, с удивлением ее белые руки пробежали по изогнувшейся черной спине, пытаясь оплести паутиной шелковистых прикосновений ту огромную брешь, которую наслаждение Тристана пробило в ее упругих глубинах. Его дыхание успокоилось, голос вновь зазвучал разумно и сосредоточенно.

— Тебе было больно?

— Да. О Боже. Все было именно так, как говорили монахини в школе. Как и должно быть во искупление грехопадения Евы. Однако стоило ей почувствовать его благородное желание освободить девушку от своей плоти, как ее ноги и руки крепче обняли его.

— Милая Изабель, — вздохнул он, смущенный тем, что не может подобрать лучших слов и все еще стесняется называть ее по имени.

Один героический подвиг еще не давал ему права держать себя на равных с этой красавицей аристократкой. Когда же Изабель наконец позволила ему вынуть свой член, он был покрыт ее кровью, и она, похоже, сердилась на Тристана за то, что они испачкали светло-зеленое атласное одеяло.

— Мария увидит и расскажет дяде! — воскликнула она.

— Она шпионит за тобой?

— Они с дядей... Они друзья.

Вскочив с кровати, Изабель принесла из ванны влажную тряпку и принялась оттирать пятно. Из-за того, что Тристан хотел прервать половой акт, пятно оказалось причудливой формы, напоминая очертаниями кубок с широким основанием, длинной ножкой и круглой объемистой чашей.

— Надо было подстелить полотенце, — сказал он, раздраженный тем, что она, судя по всему, винила его в своем кровотечении и теперь, после такого возвышенного мгновения, сразу же перешла к обыденности домашних забот.

Изабель услышала обиду в его голосе и попыталась умиротворить гордость Тристана; отвернувшись от кровати, она послушно вытерла покрасневшей тряпицей его уже уменьшившийся член. Девственная кровь растворилась в складках кожи цвета черного дерева. Пафос дефлорации начал проходить, боль у нее между ног усилилась, и она нетерпеливо сунула ему в руки мокрую тряпку.

— Давай, Тристан, ты тоже в этом участвовал.

Хотя Тристана и переполняла брезгливая гордость, свойственная даже самым бедным бразильским мужчинам, он взял тряпку, понимая состояние Изабель. У той голова шла кругом от собственной смелости, от того, что она сделала нечто непоправимое. Непредсказуемое настроение женщин — та цена, которую мужчинам приходится платить за неземную красоту этих созданий и причиняемую им боль. Когда Тристан вернулся из ванны, одетый во влажные плавки, Изабель все еще оставалась обнаженной, если не считать перстень с надписью «ДАР» и новую соломенную шляпку, такую же, как и прежняя, только клубничного цвета. На разноцветных полках, опоясывавших две стены ее комнаты, лежало множество веселых шляпок и целая сокровищница игрушек, подаренных дядей, которому хотелось навеки оставить ее маленькой девочкой.

Она вскинула голову и приняла позу стриптизерки, встав на цыпочки, выставив белые ягодички и согнув одну ногу. Пальцы ног побелели от напряжения, а на внутренней поверхности бедра обнаружилась засохшая струйка крови. Как чудесно, думала она, стоять обнаженной перед мужчиной и не стыдиться этого.

— Я все еще нравлюсь тебе? — спросила она с трагической серьезностью, подняв на него глаза из-под полей дерзкой шляпки.

— У меня нет выбора, — сказал он. — Теперь ты моя.

Дядя Донашиану

— Нет, я так не думаю, дорогая, — сказал дядя Донашиану, величественно, подобно кинжалу в ножнах, покоясь в переливающимся алюминиевом сером костюме. — Не думаю, что это находится в границах приличий, даже тех немногочисленных, которые еще остались в наш чересчур прогрессивный и легкомысленный век. Прошел месяц. Марта рассказала своему хозяину о гостившем в доме юноше и о том, что Изабель постоянно пропадает на пляже — отсутствовала она долго, а загар у нее не появлялся, поэтому ходила она, скорее всего, не на пляж, а в кино, или проводила время с парнем в отелях с почасовой платой. Разумеется, гуляет она не с Эудошией. Родители увезли Эудошию и трех ее братьев в Петрополис, чтобы спрятаться от летнего зноя в горах, где в свое время возвели дворец для двора Дона Педру Второго, ставшего теперь музеем, и где до сих пор разъезжали по узким улицам вдоль каналов в запряженных лошадьми экипажах, затем они отправятся на несколько недель в Нова-

Фрибургу, где колония швейцарских иммигрантов когда-то построила родные их сердцу швейцарские шале. Там они будут ходить по горам, играть в теннис, кататься на лодках и лошадях, любоваться вечно цветущими растениями: когда Изабель была помоложе, она часто наслаждалась всем этим в обществе дяди и его жены, стройной и элегантной тети Луны. Это было еще до того, как они, к несчастью, разошлись — развестись по закону было невозможно. Тетя Луна происходила из самой тонкой прослойки высшего света Сальвадора и теперь жила в Париже, откуда присылала Изабель к Рождеству шаль от Эрме или пояс от Шанель. Если кто-то и ассоциировался у Изабель с матерью, так это она. В Петрополисе к дяде с тетей изредка присоединялся и отец Изабель, урывая недельку от своих чиновничьих забот в Бразилиа. Как восхитительно было сидеть рядом с ним в ресторане великолепного отеля одетой строго и аккуратно, как настоящая женщина, когда накрахмаленное декольте чуть трет кожу, а вдалеке, по ту сторону голубого озера, меж двух зеленых гор сверкает водопад, и водные лыжники оставляют на водной глади светло-голубые вьющиеся следы! Но все эти наслаждения принадлежат ее детству, маленькому, как улыбки на фотографиях.

— И какие же границы приличий существуют в Бразилии? — спросила она дядю. — Я считала, что в нашей стране каждый человек творит себя сам, независимо от цвета его кожи.

— Я говорю не о цвете кожи. В этом смысле я дальтоник, как и наша конституция, соответствующая национальному темпераменту, унаследованному нами от великодушных владельцев плантаций сахарного тростника. У нас, слава Богу, не Южная Африка и не Соединенные Штаты. Но человек не может создать себя из ничего, для этого нужен материал.

— Который принадлежит очень немногим, то есть тем, у кого он был всегда, — заметила Изабель, нетерпеливо затягиваясь одной из дядиных британских сигарет.

Дядя Донашиану продул мундштук из черного дерева и слоновой кости — дядя пытался бросить курить и держал мундштук в зубах, чтобы облегчить процесс отвыкания, — и сунул его в уголок рта; это придало его лицу мрачное и мудрое выражение. Губы у него были тонкие, но красные, как будто только что вымытые.

— Руки толпы разрушат все, — пояснил он упрямой племяннице. — Даже Рио моей молодости уже превратился в сплошные трущобы. А ведь он был так прекрасен, так изумителен: трамвай ходил вдоль Ботанического сада, фуникулер шел до Санта-Терезы, в казино приезжал петь Бинг Кросби. Город был изящен и очарователен, как уникальная ваза венецианского стекла. Теперь от него осталась лишь блестящая скорлупка — внутри он прогнил. В нем нечем дышать, в нем нет тишины. Постоянно грохочет транспорт и музыка, музыка этой безмозглой самбы, повсюду вонь человеческих испражнений. Повсюду грязные тела.

— А мы с тобой разве не воняем? Не испражняемся? — Дым вырывался изо рта Изабель с каждым слогом клубами гнева. Дядя Донашиану взглянул на нее оценивающе, пытаясь вернуть своему насмешливому лицу выражение, исполненное любви к племяннице. Он вынул изо рта пустой мундштук. Его лоб, загоревший до ровного орехового цвета благодаря тщательно подобранному режиму солнечных ванн, наморщился, будто механически, и дядя по-новому, взволнованно и искренне, наклонился к ней.

— Ты использовала этого парня. Я бы тебе такого никогда не посоветовал, но, знаешь, ты права, в жизни не всегда нужно следовать советам старших. Иногда необходимо бросать вызов, делать все наперекор. Ничто не прорастает без боли, не прорвав кожуры. Первобытные люди мудро помещали боль в самую основу обряда посвящения. Что ж, дорогая моя, ты прошла через этот обряд. Ты отправилась на пляж и выбрала орудие истязания. Воспользовавшись этим живым орудием, ты стала женщиной. Ты сделала это потихоньку, без моего ведома, и поступила правильно, щадя меня. Но твой поиск достойного человека будет проходить на виду у меня, всего общества, у твоего заслуженного отца. И на виду у твоей милой матери, нашей дорогой покойной Корделии, которая со слезами на глазах взирает на тебя с неба, если, конечно, ты хоть немного веришь в то, чему тебя учили монахини.

Изабель заерзала на роскошном малиновом диване, и бархатная обивка зашуршала под ее бедрами. Она затушила сигарету — Изабель не хотелось, чтобы мать шпионила за ней. Ей не хотелось, чтобы в ее жизнь вмешивалась еще одна женщина. Мать умерла, пытаясь подарить ей брата, и Изабель не могла простить ей этого двойного предательства, хотя она часто сравнивала фотографии матери, поблекшие после ее смерти, со своим собственным отражением в зеркале. Мать была темнее, и красота ее была более типична для Бразилии. Светлые волосы Изабель получила от отца, от Леме.

— Итак, — заключил дядя Донашиану, — ты перестанешь видаться с этим черномазым. После карнавала поступишь в университет, в наш знаменитый Папский католический университет Рио-де-Жанейро. Учась там, ты наверняка увлечешься модными левацкими фантазиями и будешь участвовать в антиправительственных демонстрациях, требуя земельной реформы и прекращения преследований индейцев Амазонии. Во время этих донкихотских занятий ты влюбишься в такого же демонстранта, который, получив диплом, забудет об угрызениях совести и станет высокооплачиваемым специалистом, а может, и членом правительства, которое к тому времени военные, будем надеяться, избавят от своей опеки. Или — подожди, не прерывай меня, дорогая, я знаю, как недоверчиво твое поколение относится к поиску подходящей пары, но, поверь мне, когда улетучивается очарование, остается лишь близость характеров — ты и сама можешь стать адвокатом, врачом или чиновником во властных структурах. Теперь в Бразилии у женщин есть такие возможности, хотя общество и неохотно предоставляет их. Женщинам до сих пор приходится бороться против взглядов наших достойных предков, считавших женщину украшением и инструментом размножения. Тем не менее, если ты хочешь пренебречь материнством и традиционными домашними добродетелями, то сможешь принять участие в этой игре сильных мира сего. Ах, поверь мне, дорогая племянница, эта игра становится скучной, как только узнаешь ее правила и усваиваешь первые немногочисленные приемы. Он вздохнул; как обычно, скука лишала речи дяди Донашиану энергии — через пятнадцать минут ему надоедало любое занятие. Вот этим мы его и обойдем, сказала себе Изабель. Молодым не так быстро становится скучно.

Но дядя вдруг снова разволновался — ему пришла в голову новая мысль.

— А знаешь, мне даже завидно, честно: ты можешь поехать за

границу. Почему же, в конце концов, во времена, когда наш шарик вырождается с каждым днем, сидеть в Бразилии с ее свирепой историей, ее отвратительным, глупым народом, вечной отсталостью и бездумной самбой на краю хаоса? Мы же не только бразильцы — мы еще и граждане планеты! Поезжай в Париж, поживи немного под крылышком у тети Луны! Или, если тебе хочется улететь подальше от родного гнезда, отправляйся в Лондон, Рим или хотя бы в этот старомодный Лиссабон, где по-португальски говорят так быстро, что ни слова не разберешь! В газетах пишут, что в Сан-Франциско расцвела «Власть цветов», а Лос-Анджелес стал столицей «Тихоокеанского бассейна»! — Он наклонился к ней еще ближе и, приподняв длинные тонкие брови, которые были светлее загорелого лба, придал своему лицу то выражение, которое он демонстрировал десяткам женщин, предлагая нечто восхитительное. — Изабель, позволь мне говорить дерзко и выразить свое собственное мнение, хотя я знаю, что мой строгий брат не одобрит и даже наверняка осудит меня: если ты решила попить условности, стань авантюристкой — актрисой, певицей, призраком из электронного мира, который все чаще замещает собой унылый трехмерный мир тяжелых элементов! Оставь нас за своей спиной! Лети к звездам! Дух захватывает от перспектив, ожидающих тебя, если ты расстанешься с этим, этим...

— Тристаном, — оборвала его Изабель, не дожидаясь эпитета. — Моим мужчиной. Я скорее расстанусь с жизнью.

Красные губы дяди Донашиану мгновенно скривились, и он заметил, что его бокал, давеча наполненный напитком, столь же искривился, как и его костюм, уже пуст.

— Это подзаборные речи, дорогая, дозволительные беднякам, ибо вульгарная романтика сопливого толка — единственное, что остается, когда нет сил терпеть лишения. Но ты, и все мы имеем привилегию жить разумно. Именно на разуме, а не ужасных вековых иберийских мечтах и алчности беспородных собак зиждется надежда Бразилии. Изабель весело рассмеялась, вспомнив распорядок дня своего дядюшки, — прогулка вдоль пляжей Ипанемы и Леблona ранним утром, предполуденный визит к личному биржевому маклеру — смышленому светлому мулату, который учился в Лондоне и занимался планированием дядюшкиных финансовых дел; второй завтрак и сиеста с одной из любовниц в ее загородном доме с прохладными беседками; вечера на террасе «Клуба жокеев», где он пил джин, любуясь небом над Корковаду, залитым розовым закатом. Она игриво поцеловала его в загорелый лоб и ушла из гостиной по винтовой лестнице, ошибочно полагая, что дядя занимался привычными словесными упражнениями, дабы ублажить семейные призраки.

С тех пор как Изабель начала спать с бедняком, ей стало легче разговаривать с Марией — она уже не так боялась ее злой индейской крови и немногословия.

— Мой дядюшка, — с усмешкой говорила она на кухне, — забывает, что я больше не ребенок, вверенный попечению монашек.

— Он очень любит тебя и желает тебе только самого хорошего.

— Почему ты ему все рассказываешь? Теперь я не могу приводить Тристана к себе — ты же предала нас.

— Я не стану обманывать твоего дядю. Он очень хорошо ко мне относится.

— Как же! — с издевкой произнесла Изабель и принялась за каруру, которое Мария собиралась съесть сама. — Он платит тебе, как собаке, спит с тобой и все время бьет. Я знаю об этом, потому что слышу шум возни из твоей комнаты, хоть ты и не кричишь.

Широкие красно-коричневые скулы Марии украшали две пары аккуратных косых шрамов. Она заговорщицки взглянула на Изабель. Сверкнули глаза-щелки, утонувшие в одутловатом лице.

— Твой дядя — добрый человек, — сказала она. — Если он и бьет меня, то лишь потому, что злится на самого себя. Он не выдерживает напряжения — трудно быть богатым в бедной стране. Он все время бьется лбом о стену, потому что в нашей стране такой утонченный человек, как он, не может найти себе достойного применения. Здесь все подминают под себя грубые мужланы из сертана[4]. Я понимаю, что он бьет не меня. Его удары нежны, как шлепки котенка по бумажному бантику.

— А трахает он тебя как? Тоже нежно?

Мария не ответила. Молча, как и полагается индианке, она взяла себе тарелку из буфета и разделила каруру пополам, словно давая понять, что раз Изабель захотела поговорить о постели, то они теперь равны.

— Твой дядя добрый человек, — повторила она. — Но смотри не переусердствуй. Ты должна поступить в университет и водиться с приличными парнями. Тристан не для тебя. Вот у меня мог бы быть такой парень, когда я была моложе. Симпатичный уличный парнишка. Он красив, как птица из джунглей, но из него обеда не сварить. В нем ничего нет, кроме клюва, ногтей и ярких перьев.

Изабель откинула волосы, чтобы они не мешали ей есть, и, проглотив кусочек окры, смело и пытливо взглянула на Марию. Она знала, что дерзость к лицу, и потому вздернула подбородок.

— Мы нашли друг друга, — сказала она, — на пляже, среди сотен других людей. Мы не можем позволить себе потерять нашу любовь. Да и что нам может сделать дядя? Ничего. Мне ведь уже восемнадцать. Это в старые времена молодых девственниц можно было запирать в альковах больших усадеб и, затянув их в шелка и траурные кружева, заставляя глядеть на мир сквозь решетчатые окна, в ожидании своей очереди заняться размножением, подобно породистым голубям.

— Он может отправить тебя в Бразилиа, к отцу, — заметила Мария. — Из столицы не сбежишь. Она окружена девственными лесами, даже глубоким рвом с водой.

Изабель вскочила с табуретки, как с горячей сковородки, и стремительно, ни к чему не прикасаясь, словно боясь обжечься, стала мерять шагами кухню.

— Он говорил тебе об этом? Он так тебе сказал, Мария? В столицу, к отцу? Говори же! — Угроза переезда в столицу приводит в ужас всякую истинную кариоку.

Мария молчала, в ней неслышно, но упорно боролись два чувства: верность хозяину и любовнику, с одной стороны, и сочувствие к младшей сестре по несчастью, с другой. Ибо Изабель — еще одна пленница любви и жертва рабства, которое секс несет женщинам, хоть она по незнанию и провозглашает себя свободной.

— Я не знаю наверняка, хозяйка, — сказала она наконец. — Но он говорил с братом по телефону. Мне кажется, если ты не расстанешься с этим парнем, ты вряд ли проведешь нынешний карнавал в Рио.

Лачуга

Лачугу матери Тристана там и сям пронизывали острые кинжалы света, проникавшие сквозь щели в листах оцинкованной жести над головой и дыры в стенах из крашеных досок и картона. Но даже яркий голубой свет не мог пронзить насквозь душную атмосферу хижины, наполненной не только дымом табака и кухонным смрадом, но и пылью от земляного пола и осыпающегося материала стен, которые постоянно облеплялись новыми слоями украденных или присвоенных вещей, призванных защитить жителей хижины от природных невзгод: палящего солнца, потоков дождя и холодного океанского ветра в безлунные ночи. Хижина, казалось, утопала среди нетронутой природы, поскольку лепилась к одному из самых высоких и крутых склонов Морру Вавилонии, или Вавилонской горы. Когда ее обитатели ошупью выбирались наружу, откинув полог из гнилого тряпья, заменявший двери, их взору открывался жестокий и величественный вид сверкающего на солнце моря с парусниками и островками, и они щурились от слепящего света.

Изабель прибыла сюда ночью и еще не осмелилась выйти на улицу при свете дня. Ее поразила густота и текучесть воздуха внутри лачуги, и она никак не могла понять, сколько же здесь народу помимо них с Тристаном и его матери. Казалось, в хижине несколько комнат на разных уровнях; одну из них, служившую ванной и туалетом, она уже посетила. Полом там служил прогибающийся кусок фанеры, а под ним виднелся головокружительной крутизны склон голой оранжевой глины, по которому экскременты и моча стекали вниз и скрывались на участке другого поселенца. Голос матери Тристана, невнятный и вялый, раздавался, казалось, не из какой-то определенной точки, а из угла, самого темного и защищенного, где пол был неровным, словно застывшая зыбь, похожая на бледную тень, отбрасываемую далекой горной грядой.

Изабель узнала, что мать Тристана зовут Урсула, Урсула Рапозу. Прошлой ночью запыхавшиеся Изабель с Тристаном ворвались в хижину и разбудили ее. Они долго карабкались вверх по склону Морру Вавилонии и выбились из сил. После освещенных лунным светом зигзагов горных улочек лачуга казалась такой темной, словно их окунули в чернильницу. Затем вспыхнула спичка, и огонь приблизился к лицу Изабель так близко, что едва не опалил ее длинные ресницы. Потом спичку задули, и в ноздри ударил сладковатый, отдающий тростниковой водкой перегар.

— Ну и штучка эта белая девчонка, — сказал голос, принадлежавший спичке и вони. — Как тебе удалось украсть ее?
— Я не украл ее, мама. Я ее спас. Дядя собирался отослать ее к отцу. Она не хочет уезжать. Она хочет остаться со мной. Мы любим друг друга. Ее зовут Изабель.

Горячий шепот Тристана раздавался в нескольких сантиметрах от уха Изабель.

Темень закряхтела, потом внезапно что-то зашуршало, и ее обдало резким и быстрым дуновением ветерка. По глухому звуку, раздававшемуся рядом с ее головой, Изабель поняла, что Тристан получил оплеуху.

— Ты принес мне денег?

— Немного, мама. Неделью сможешь пить кашасу.

Раздался более тихий бумажный шелест, и кисло-сладкое облако алкогольного перегара, сдобренное запахом теплой плоти, отодвинулось в сторону; Изабель почувствовала, как сильная рука

любимого потянула ее туда, куда сама она не осмелилась бы сделать хоть один шаг, поскольку неровный пол под ногами был усеян каким-то хламом, а мрак по-прежнему оставался абсолютным. Какие-то непонятные существа — то ли скорпионы, то ли гигантские многоножки — щекотали ей лодыжки, а разок она больно ударилась локтем о грубую деревянную подпорку, которую Тристан ловко обогнул, не выпуская ее руки из своей ладони. Она поняла, что он смущен и от этого чувствует себя напряженно: ведь он привел ее к себе домой.

— Сюда, Изабель, — сказал он.

Сильная рука потянула ее книзу, в узкий проем, где прямо на голую глину были брошены колючие комья грубых мешков, набитых, судя по еле уловимому запаху, чем-то вроде высушенных цветов или скелетов очень маленьких и хрупких мертвых тварей. Вытянув наконец свои нежные члены, она почувствовала себя в полной безопасности, подобно зародышу в утробе матери, и даже замурлыкала от накатившего на нее ощущения счастья.

— Тихо, — мгновенно рявкнула Урсула, казалось, прямо в ухо Изабель, хотя они с Тристаном довольно долго пробирались по колышущейся темноте, заполненной очертаниями каких-то предметов и существ. Где-то совсем рядом раздавалось чье-то тихое сопение — а может, это был хор нескольких дышавших в такт легких, — и мать Тристана вдруг запела бессвязно, тихо, заунывно, и песня ее становилась то громче, то тише, но никак не кончалась. Звук этот не был неприятным, он сливался с бормотанием, проникавшим в хижину сквозь ее невидимые стены; с обрывками разговоров и топотом шагов ниже по склону, с шумом ночного Рио и ритмичными звуками самбы, доносившимися то из города у подножия горы, то откуда-то сверху, как будто сами ангелы веселились в предвкушении карнавала.

Сколь бы опасным и необычным ни казалось положение Изабель, ей было удивительно спокойно и хотелось спать после лихорадочного бегства с Ипанемы вдоль Кобакабаны, после долгого подъема по склону горы туда, где в лунном свете мерцала Фавела, нависшая над городом подобно застывшей лавине. Она чувствовала, как напряжено тело Тристана; он дал ей вместо подушки свернутую в комок тряпку, терпко пахнущую чьим-то потом. Темень приняла ее в свою утробу, обволокла Изабель, убаюкивая ее материнским дыханием.

Ее любимый оставался напряженным и беспокойным.

Несколькими лихорадочными движениями он уместил между собой и Изабель две большие сумки, которые они волокли с собой вверх по склону, — в них были одежда девушки и ценные вещи, похищенные из квартиры дяди Донашиану: серебряный портсигар, хрустальные подсвечники, украшенный драгоценными камнями золотой крест, в свою очередь украденный кем-то из церкви XVIII века в Минас-Жераисе и проданный затем ее дяде торговцем антиквариатом, и стянутый множеством резинок прямоугольный пакет из банкнот по десять тысяч крузейро, обнаруженные ими под надушенным дядиным нижним бельем, которое, как изумленно подумалось тогда Тристану, больше подошло бы женщине. Когда он торопливо размещал сумки, их острые углы впились в тело Изабель, вновь напомнив ей о том, что беззаботное девичество осталось позади и она вступила на путь женщины, исполненный страданий. Пьяная песнь матери Тристана говорила о том же, но уже ничто не могло помешать Изабель уснуть в теплом чреве нищеты, пока ее муж (по крайней мере, он ей теперь

казался мужем) беспокойно ворочался рядом, строя в кромешной тьме планы на будущее.

Когда она проснулась, день уже возвестил о своем приходе голубыми клинками света, висевшими повсюду в клубах дыма. Неподалеку от грубого лаза наружу — чтобы чад выносило на улицу — девочка лет двенадцати-тринадцати готовила пищу, сидя на корточках у огня, разведенного под укрепленной на каких-то подставках круглой крышкой от железной бочки. Изабель распознала аромат кофе и запах ангу — кукурузных лепешек, которые делают почти из одной воды и соли. По хижине слонялись какие-то люди. Она узнала знакомый по пляжу коренастый силуэт Эвклида, когда тот прошел мимо в сером утреннем свете. Он поглядел в сторону Изабель, но сделал вид, что не заметил ее. Тристан показал ей закуток, откуда кал стекал вниз по склону. После тревожной ночи он выглядел осунувшимся и повзрослевшим, походя на кусок копченого мяса; блеск его темной кожи потускнел. Она с болью подумала о том, что, обретя ее, Тристан взвалил на свои плечи тяжелую ношу. По наивности своей Изабель решила, что если ей удастся заключить союз с его матерью, то это облегчит Тристану его бремя. Урсула все еще лежала в постели, а рядом на широком и грязном соломенном матраце, источающем сладковатую вонь, лежал мужичонка, уткнувшись пивякой в ее бок. В спутанных черных волосах мужчины виднелась проседь. Лицо его наполовину скрывала огромная коричневая грудь, свисавшая из разорванного платья Урсулы. В этом грязно-коричневом цвете ее кожи не было и следа африканской синевы Тристана. Очевидно, иссиня-черную кожу он унаследовал от отца. Белки глаз Урсулы пожелтели и помутнели от пьянства, во рту не хватало зубов.

— Белая девушка, чего тебе здесь нужно? — спросила она, увидев, что Изабель поднялась на ноги.

— Меня привел Тристан: моя семья хотела разлучить нас.

— Мудрые люди. Вы двое просто свихнулись, — сказала Урсула, не отводя мутных глаз от светловолосой девушки и стараясь определить, какой прок можно извлечь из ее появления.

— Мы любим друг друга, — объявила Изабель. — Мы хотим остаться вместе навек.

Мать Тристана не улыбнулась. От гнева черты ее угрюмого лица обозначились немного резче.

— Хорошо, если любовь ваша продлится хотя бы одну ночь, — заявила она. — Мой паршивец не имеет права любить кого бы то ни было.

— Он красивый, — сказала Изабель женщине о ее собственном сыне. — Я чувствую себя ущербной, когда его нет рядом. Не могу есть, не могу сомкнуть глаз. А прошлой ночью спала, как младенец.

«Не как младенец, — подумала она про себя, — а как зародыш».

— Я люблю вас, Урсула, — осмелилась признаться Изабель, — за то, что вы вырастили такого красивого мальчика... мужчину.

Она была полна решимости стереть с этого сального коричневого лица враждебную тупость и заставить Урсулу признать чудо ее с Тристаном любви.

— Херня, — грязно выругалась женщина, но тем не менее улыбнулась. Словно пытаясь погасить улыбку и спрятать жалкий щербатый рот, она откопала в груди наваленных рядом с постелью вещей бутылку и присосалась к горлышку. Когда глаза Урсулы

закрылись, на лицо ее вернулась красота — та красота полуденного солнца, которую Изабель видела в Тристане. Хотя тело Урсулы стало грузным и превратилось в бесформенную расплывшуюся глыбу плоти, овальное лицо ее оставалось изящным и его обрамляли роскошные волосы цвета кукурузных кисточек. Беспорядочное пересечение шрамов на ее лице — совсем не таких симметричных и исполненных смысла, как у Марии, — свидетельствовало о былых побоях и ранах. Тристан, до этого скрывавшийся от глаз Урсулы и Изабель в той части хижины, что располагалась за грубой деревянной подпоркой, показался из-за сооружения, которое поддерживало оцинкованную жестью крышу и разделяло интерьер лачуги на некое подобие комнат.

— Мама, мы здесь не останемся. Тут слишком мерзко.

Встревоженный зычным мужским голосом, тщедушный мужичок перекатился на спину. Показался его открытый слюнявый рот.

Свободной рукой Урсула прижала его голову к своей груди, и он, всхлипнув, затих.

— Засоренная высокими идеями голова — вот что всегда внушало мне отвращение. Интересно, сколько богатые родственники заплатят за ее возвращение?

— Наверняка много, — ответил Эвклид, который разговаривал с девушкой у очага. И обратился к Изабель: — Где твоя подруга Эудошия? Мы с ней тогда здорово поболтали о католической общинности и марксизме. По дороге к Леме и обратно мы пришли к выводу, что оба учения донкихотские.

— Родители забрали ее с собой в горы, — ответила Изабель. — Она типичная буржуазная девочка: болтает смело, а на жизнь смелости не хватает.

Эвклид прищурился и сказал:

— Избыток храбрости всегда оборачивается любовью к смерти.

— Мы любим друг друга, — продолжил Тристан, обращаясь к матери. — Мы собираемся отправиться на поезде в Сан-Паулу. С помощью моего брата Шикиниу я хочу найти там работу на автомобильном заводе. Мама, мне нужен его адрес.

Изабель впервые услышала о третьем брате. Лицо его матери вытянулось, но потом она хитро прищурилась.

— Еще один паршивец, — сказала она. — Ни гроша домой не присылает, а ведь уже разбогател, «жуки» делает, на которых все ездят. Если бы аптекарь дал мне приличное лекарство, никто бы из вас, паршивцев, не обременял собою Мать-Землю.

Девочка у очага спросила:

— А ее мы тоже будем кормить? Теста хватило только на восемь лепешек.

— Отдай ей мою долю, — ответил Тристан.

— Нет, тебе нужно копить силы, — сказала Изабель, хотя у нее все плыло перед глазами от голода. В голове звенело, а в желудке будто кошки скребли... Неужели бедняки постоянно испытывают эти ощущения? Она пересчитала людей в хижине, и у нее получилось шесть человек, включая спящего. — Тристан по движению зрачков Изабель угадал ее мысли.

— Есть еще бабуля, — пояснил он.

Из вороха циновки и мешков в самом дальнем и сумрачном углу хижины с доброй улыбкой поднялось странное существо, которое, казалось, состояло из тощих темных лохмотьев и костей. Старая изможденная женщина в лазурном ситцевом платке в горошек,

обернутом вокруг головы наподобие чалмы, шаркая, двинулась к ним, шаря рукой по залатанной стене хижины, чтобы не потерять дорогу. Глаза ее были лишены зрачков, а кожа напоминала растрескавшуюся от засухи черную землю.

— Это ваша мать? — спросила Урсулу Изабель. Хотя мать Тристана не выказывала никакого к ней расположения, Изабель чувствовала необходимость сблизиться с ней, как с потенциальной наставницей в новом искусстве женской жизни.

— Какая, к черту, мать, не было у меня никакой матери, — пробубнила в ответ Урсула. — Старая бабуля говорит, будто она мать моей матери, но кто это может доказать? Она живет здесь, ей больше некуда податься, собрались здесь кто попало, а я их корми своей дыркой. Паршивцы с пустыми карманами, вроде этого, мне всю дыру протерли.

Урсула сердито хлопнула себя по боку, и спящего мужчину снова отбросило в сторону. Веки его поднялись, как у ящерицы, когда та высовывает язык.

— У него в штанах пусто, одни яйца, — объяснила она Изабель, а затем, словно почуяв, что девчонка нуждается в поучении, добавила: — Когда будешь трахаться, всегда требуй деньги вперед. За анальный секс требуй больше, потому что это больно.

С бабулей получалось семь человек. Значит, одна лепешка лишняя, подсчитала Изабель. Они с Тристаном могут разделить ее. Собственный голод представлялся ей неким твердым предметом, лежащим в прозрачном сосуде окружающей жизни. Даже стены хижины с размытыми столбиками света казались все более прозрачными по мере пробуждения Фавелы и нарастания шума на улицах Рио у подножия горы. Из того же угла, откуда появилась бабуля, вышли еще двое — коренастый мужчина и женщина, уже далеко не молодые, но еще не старые — они ощупью пробрались к выходу из хижины и ловко схватили по лепешке с плиты.

Изабель поразилась тому, с каким количеством народа она так крепко проспала всю ночь. Бедняки, как и животные, выработали удивительно тактичную политику жизненного пространства. Теперь, когда Изабель смогла оценить размеры хижины, она увидела, что места здесь не больше, чем в туалетной комнате дяди, если, конечно, не считать утопленную в пол ванну, желтый унитаз с мягким сиденьем и подобранные в цвет биде, две раковины по бокам от большого зеркала, два туалетных столика (один для лекарств, а другой для косметики, брошенной тетей Луной), вешалку для одежды и полотенце, сушилку, похожую на стрельчатое окно церкви; отдельную душевую кабину с матовой стеклянной перегородкой и шкафчика, где Мария хранила стопки сложенных полотенец всевозможных размеров. Когда Изабель была маленькой, эти стопки казались ей мохнатой лестницей. И когда она вырастет, то взберется по этой лестнице и станет домохозяйкой, как тетя Луна, только полотенце у нее будет еще больше, а муж будет даже лучше дяди Донашиану.

Подсвечник

Назревала драка. Эвклид, который на пляже казался таким милым скуластым молокососом, теперь требовал от своего брата, чтобы они обратили в прибыль свою в некотором роде власть над этой бледнолицей богатой девушкой. Тристан подобрал обе спортивные сумки, взяв их под левую руку, и оставил правую свободной. Его рука покоилась на поясе шортов рядом с тем местом, где, как уже знала

Изабель, обитало лезвие бритвы.

— Она моя, — говорил Тристан. — Я обещал, что ей никто не причинит вреда. Ты слышал мои слова.

— Слышал, но сам-то я ничего не обещал. Я только стоял и смотрел, как ты из гордыни своей совершаешь грех. К счастью, она оказалась такой же глупой, как и ты. Одна записка ее отцу — и мы получим миллионы, десятки миллионов.

— Когда мы встретимся с ее отцом, я предстану перед ним как благородный человек перед благородным человеком, а не как вор перед своей жертвой и не как нищий перед принцем.

— Ты всегда слишком много мечтал, Тристан, верил в добрых духов и в сказки. Ты считаешь свою жизнь повестью, которую расскажут в мире ином. Ты думаешь, будто над нами восседают ангелы-писцы и все записывают, макая перья в жидкое золото. На самом же деле нет ничего, кроме грязи, голода и смерти в конце. Поделись со своей семьей хотя бы содержимым ее сумок.

— В них нет ничего, кроме одежды моей женщины. Теперь моя семья — Изабель. Мать называет нас паршивцами и убила бы и тебя, и меня в своей утробе, если бы знала как. А ты? Я называл тебя братом, мы вместе совершали преступления, а теперь, когда я обрел сокровище, ты хочешь ограбить меня.

— Я только хочу, чтобы ты поделился со своей семьей, глупая ты задница. Сделай свою мать богатой, чтобы ей не приходилось спать с кем попало.

— Богатство ей не поможет, крысиное ты дерьмо, косоглазый хрен вонючий. Наша мать — шлюха, ей ведом только блуд, и в блуде ее счастье. — Почувяв, что Эвклид разозлился и готов напасть на него, Тристан искоса бросил взгляд на мать, чтобы посмотреть, не обиделась ли она.

— Убей его, — сказала та, ни к кому не обращаясь, своим текучим, отрешенным, всепроникающим голосом. — Убейте друг друга и сотрите с лица земли внебрачные ошибки бедной негритянки.

— Кто мы такие? — спросил мужчина, лежавший рядом с ней. Он проснулся и теперь смотрел в потолок, пытаясь справиться со страшной головной болью. Наверное, он хотел спросить о чем-то другом.

— Чую в доме чужака, — объявила бабуля на старомодном португальском языке колониальной Баийи с его напыщенной учтивостью и варваризмами.

— Шесть лепешек на семь человек, — объявила девушка у очага.

— Бери мою, — обратилась к Изабель Урсула. — С моими зубами остается только пить.

— Ах, — удивленно воскликнула Изабель. Правила приличия требовали, что бы она отказалась, но более серьезные потребности пересилили. — Как вы добры! Я не стану отказываться. Благодарю вас, Урсула, от всего сердца.

Она проглотила горячую лепешку в одно мгновение. Никогда еще пища не казалась ей такой вкусной и не проникала с такой легкостью в ее существо, питая собою пламя, которое текло по ее нервам и жилам. Шагнув вперед, она расстегнула большую из двух сумок, которые Тристан держал под мышкой.

— В знак благодарности за ваше гостеприимство я хочу преподнести вам небольшой подарок.

Она решила подарить Урсуле один из хрустальных подсвечников.

Другой останется с ней как тайный символ. Она вынула из сумки изящный граненый подсвечник, из щели в стене по нему ударил луч солнца, и, повинувшись движению ее пальцев, по хижине сверкающими стрекозами запорхали радужные всполохи.

— По-моему, подсвечник привезли из Швеции, страны льда и снегов. Пожалуйста, прими его, мама, — позволь мне называть тебя так. Хотя ты мне и не мать, но твой сын для меня — самое дорогое существо на свете, а его жизнь слилась воедино с моею.

Пожилая женщина пьяно опустила на постель, не зная, что сказать. Сверкание драгоценного подсвечника резало ее мутные глаза.

— Дрянь, — проговорила она наконец. — Стоит нам продать, как легавые тут же проследят за ним и прищучат нас всех. Эта девчонка пытается убить мамочку своего парня.

— Отнесите его в магазин к Аполлониу де Тоди, в Ипанеме, — сказала Изабель. — Он даст вам за него настоящую цену и будет держать подсвечник у себя, пока его не выкупят. Скажите, что вы от Леме.

— Бабуля, разве ты не чуешь ловушку? — спросил Эвклид старую слепую провидицу. Остальным он сказал: — По-моему, тщеславие и чванство брата принесет нам массу хлопот, а мы желаем лишь одного: жить смиренно, стараясь не попадаться на глаза власти имущим, и промышлять воровством и блудом в пределах, необходимых, чтобы обеспечить себе пропитание.

Беззвучно сверкнула сталь, и Тристан приставил к желтой щеке брата лезвие бритвы.

— Тебе надо бы подправить лицо, — сказал он, — за то, что ты плюешь на щедрый подарок моей жены.

В Бразилии люди называют себя мужем и женой, когда соединяются сердца, а не после официальной помпезной церемонии. Это пафосное ощущение пришло к Изабель и Тристану после ночи, в кромешной тьме хижины Урсулы.

— Мы не привыкли к таким дарам. Звери, подобные нам, обычно избавлены от проявлений буржуазного чувства вины. Маркс говорит, что болезненная филантропия хуже тупого здорового гнета, поскольку последний по крайней мере напоминает рабочему классу о его борьбе. Прости нас, Изабель, если мы были грубы к тебе, — осторожно произнес Эвклид, стараясь, чтобы ни один мускул не дрогнул на его лице.

— А ты представь себе, будто украл этот подсвечник, — не обижаясь, ответила Изабель, — если это польстит твоему самолюбию. Она поняла, что соперничество между единоутробными братьями возникло из-за ревности — потому отчасти, что Эудошия отвергла этого близорукого философствующего бедняцкого сына и братское единение оказалось разбитым.

— Прости меня, Эвклид, за то, что я отнимаю у тебя брата.

На пляже все кажутся свободными, обнаженными и самодостаточными в своем безделье, однако никто не может освободиться от одеяний обстоятельств своей жизни — все мы ветви того или иного дерева, и обретение жены одновременно означает потерять брата.

— Обнимитесь, — попросила Изабель братьев и добавила, обращаясь к любимому: — Нам нужно идти. — Потом повернулась к Урсуле: — Сохрани мой подарок, если хочешь, и зажги в нем свечу в ночь нашего возвращения.

— Слишком много шлюх у нас в Бразилии, — пробормотала Урсула, как бы пытаясь объяснить причину нищеты и оправдать позорное желание принять плату за гостеприимство. Никто не помешал парочке покинуть хижину, хотя бабуля, раздраженная тем, что на нее никто не обращает внимания, начала шумно пророчествовать.

— Беда, беда, — верещала бабуля. — Чую, близится беда. Она пахнет цветами, она пахнет лесом. Он возвращается, тот старый лес, дабы пожрать всех бедняков! Смилуйся над нами, Оксала! Снаружи, на утрамбованном глинистом островке меж двух потоков молочно-белых сочащихся помоев, грелась на солнышке упитанная пара. Тристан представил их Изабель как своих двоюродных брата и сестру, которые в славные времена Кубичека исполняли на сцене половой акт в одном из значных мест неподалеку от старого акведука. Дважды, а по выходным и трижды за ночь они достигали оргазма в ярких лучах юпитеров под глумливые крики смущенной публики. Потом как-то враз они вдруг стали слишком старыми для таких подвигов, к ним потеряли интерес, и теперь они сидели здесь, ожидая нового поворота в своей судьбе. У них были добродушные, морщинистые, отрешенные лица — как у рыночных торговцев, которые всегда столь милы и услужливы, но отнюдь не назойливы. Внутренне содрогнувшись, Изабель вдруг подумала, что они с Тристаном могут кончить так же, как они, и восторг влечения исчезнет, как пропадают всплески радуги над морским прибоем. Взявшись за руки, они стали спускаться по крутому склону холма, и перед ними блистающими доспехами раскинулось огромное море, а отовсюду доносилась убаюкивающая болтовня телевизоров, работающих на краденом электричестве.

Сан-Паулу

Они отправились на поезде в Сан-Паулу. Железная дорога тянулась на юго-запад вдоль Атлантического побережья. Когда поезд поворачивал и косые лучи солнца проникали сквозь грязные окна вагона, было заметно, как над выгоревшими плюшевыми сиденьями сидят облачка пыли. Изабель надела свою черную соломенную шляпку и кольцо с надписью «ДАР» — подарок Тристана. Слева по ходу поезда за окном бежали мимо красные черепичные крыши маленьких рыбацких деревушек, старые конические строения сахарных мельниц, качающиеся на ветру пальмы, белые серпообразные пляжи, сверкающие на солнце под непрерывными ритмичными ударами ослепительно голубого моря. Справа возвышались увенчанные зелеными куполами лесов скалы, похожие на гранитные буханки хлеба. Большая часть Бразилии представляет собой обширное, немного холмистое плато, а прибрежные горы — его отроги. Пока поезд тяжело взбирался по склонам Сьерра ду Мар, терпеливо останавливаясь на станциях, где никто не садился и никто не сходил, унося Тристана и Изабель в будущее, влюбленные дремали, обмякнув, как мешки с сахаром на плече друг у друга. А их переплетенные руки плетью лежали на коленях. Просыпаясь, они говорили о себе. Им нужно было так много узнать друг про друга, так многому научиться.

— Я полюбила твою мать, — сказала Изабель, — хотя она и не пыталась помочь мне в этом.

Тристану нравилось то, как лицо Изабель напрягалось, словно капля росы, которая вот-вот сорвется с места и побежит вниз, когда она собиралась сказать нечто требующее ответа. В такие моменты она

чуть поджимала рот, и над ее верхней губой, под едва заметными усиками, возникал ряд маленьких морщинок.

— Это очень мило с твоей стороны, но она не заслуживает нашего с тобой уважения. Она хуже зверя, поскольку у зверей хотя бы есть материнский инстинкт. Птицы высиживают и кормят своих птенцов, а я свою мать интересую не больше ее собственного дерьма.

— Разве я ей не понравилась? Ты видел, как она еле сдержала слезы, когда я подарила ей подсвечник?

— Я этого не заметил, но в хижине довольно темно.

— А кто была та девушка у очага?

— Наверное, моя сестра.

— Ты не знаешь этого наверняка?

— Она просто появилась у нас в доме в один прекрасный день, вот и все.

— Ты когда-нибудь спал с ней?

— Не помню. Пока я не увидел тебя на пляже, женщины не вызывали у меня особых чувств.

— Ты лжешь, Тристан. Наверное, ты спал с ней. Вот почему она не хотела меня кормить. Когда ты впервые переспал с девушкой?

— Это была не девушка, а женщина, которая казалась мне старухой, — подруга моей матери. Она заставила меня взять ее и спереди, и сзади. Мне тогда было одиннадцать. Это было ужасно и отвратительно. А мать наблюдала за нами.

— А потом? Потом у тебя были другие, не такие отвратительные?

Он не хотел говорить на эту тему, но в конце концов признался:

— Девушек фавелы легко соблазнить. Они знают, что жизнь их будет короткой, поэтому они щедры и безоглядно смелы.

— Была среди них... такая, кого ты любил больше всех?

Тристан подумал об Эсмеральде, вспомнил ее густые волосы, тонкие темные руки и ноги, ее сумасшедшинку избалованного щенка, который слишком глуп, чтобы запомнить команды, — вспомнил, попытался спрятать ее в закутках своей памяти и сразу почувствовал себя виноватым. Изабель почувствовала, что он что-то скрывает, это задело ее, и как бы в отместку она поведала Тристану о своих девичьих фантазиях про мальчиков, про сыновей знакомых дяди Донашиану и тети Луны, увиденных мельком в противоположном конце столовой или в бассейне под жарким солнцем во время январских каникул в Петрополисе. Тристан заснул, пока она говорила, сцепив коричневые длинные пальцы на коленях, — ладони у него были цвета полированного серебра, а линии, казалось, процарапаны гравером. Проплывающие за окнами вагона просторы покрывала необычайно яркая зелень кофейных деревьев.

Когда они прибыли на вокзал Эстасан-да-Лус в Сан-Паулу, разразилась свирепая гроза — крыши высотных зданий скрылись в тучах, а по улицам понеслись потоки воды. Люди перебежали от подъезда к подъезду, ветер рвал из их рук газеты, которыми они пытались прикрыться от дождя; распространяя запах мокрого стада, они столпились под арками автобусной станции со множеством ажурных чугунных балконов и викторианских колонн. Тристан и Изабель уже почувствовали, что у Сан-Паулу нет границ. Море и горы не стискивали его, как Рио; город был частью плоскогорья, портом на его краю. Скот и кофе из глубины страны текли через этот город, сделав его богатым, бездушным и огромным.

Дождь кончился, тусклый желтый свет заходящего солнца

позолотил лужи, kloкочущие водосточные канавы, зеленые телефонные будки и газетные киоски с номерами «О Глобу» и «Фолья де Сан-Паулу», которые напоминали на стендах развешенную для просушки одежду. Найдя такси, они велели водителю отвезти их в единственный отель, который Изабель знала в этом городе, в «Отон Палас», где они с отцом десять лет назад останавливались на выходные. Ее мать к тому времени уже умерла, с ними была какая-то стройная женщина, и она вела себя с Изабель слишком ласково — покупала ей конфеты и побрякушки, обнимала ее, как актриса во время проб на роль матери, но явно при этом переигрывала и была слишком молода для этого амплуа. Теперь в том же самом отеле Изабель оказалась слишком молодой для той роли, которую хотела сыграть, — роли замужней женщины. Достопочтенный клерк, стройный молодой человек с большими красными ушами и прилизанными с пробором посередине волосами, посмотрел на нее, потом на Тристана, стоящего перед ним в своей лучшей синей рубашке из хлопка и выцветших шортах, оставлявших открытыми черные стройные ноги, и сказал ей, что свободных номеров нет. Изабель проглотила выступившие было на ее глазах слезы и спросила, куда же им идти. Клерк показался ей вежливым, хотя и пытался держаться с профессиональным высокомерием — он напомнил Изабель одного из двоюродных братьев. Его молочно-голубые глаза с прозрачными, как у поросенка, ресницами мельком глянули по сторонам, и клерк, убедившись, что за ним никто не наблюдает, написал на фирменном бланке «Отон Паласа» название отеля — «Амур» — и его адрес, тихо объяснив, как туда добраться: нужно пересечь Виадуту-ду-Ша, выйти на Авенида-Ипиранга, повернуть направо, а затем пройти по маленьким улочкам со множеством замысловатых поворотов. Он посоветовал идти быстро и не заговаривать с незнакомцами. В сумерках они увидели мерцающую неоновую вывеску с названием отеля, написанным аккуратным наклонным шрифтом, которому монахини пытались научить Изабель. Однако ее почерк остался округлым и прямым. Отель некогда был усадьбой кофейного плантатора, теперь просторные залы с арочными потолками разделили перегородками и обставили мебелью из синтетических материалов пятидесятих годов. Кровать представляла собой плоский подиум, с картин, развешанных по стенам, пялились большеглазые уличные мальчишки, однако в центре комнаты с потолка свисал вентилятор, который после щелчка выключателем начал лениво вращать четыремя лопастями; кроме того, в комнате было несколько зеркал в золоченых рамах, шкаф и комод из приятно пахнущего темного дерева. Изабель чувствовала себя настоящей светской дамой, когда, разложив вещи по полкам и ящикам, устроилась на диване, позвонила по телефону и ровным голосом заказала в номер еду и напитки. Клерк отеля, итальянец в рубашке без воротника, дал им комнату без всяких проволочек. Правда, мулат-коридорный, который относил спортивную сумку и рюкзак в номер, нахально тряс пригоршней, пока ему не добавили его чаевых, и только после этого, закрыв за собой дверь, смачно сплюнул на пол. Однако со временем персонал отеля полюбил их. Немногие постояльцы задерживались здесь больше, чем на час или два. В отеле был маленький дворик с разросшейся до невероятных размеров лианой, и теперь в ее тени на потертой деревянной скамейке, где когда-то отдыхали старый плантатор со своей женой, пили кофе после прогулок по магазинам Тристан и Изабель.

Пачка крузейро стремительно обесценивалась, и им казалось разумным побыстрее истратить ее. Они отправлялись на Авенида-Паулиста и Руа-Аугуста и покупали одежду, пригодную для городской жизни. Они обедали в ресторанах, где за столиками парами сидели элегантные дамы и пили коктейли, умудряясь не испачкать носы о кусочки фруктов, нанизанных на края высоких бокалов. Под белыми столиками виднелись их длинные ноги в шелестящих шелковых колготках, открытые до бедер новомодными мини-юбками. Вокруг них, являя собой наглядную демонстрацию экономического чуда, сотворенного правительством генералов, росли небоскребы из стекла и бетона. После завтрака они занимались любовью, затем вместе принимали душ, что частенько снова заканчивалось постелью, а после выходили на маленький балкончик навстречу головокружительной пропасти под их ногами, наполненной сверкающей мозаикой уличного шума и бетонных джунглей, все еще мокрых пятен после ночного дождя. Безмянные просторы Сан-Паулу казались им огромным, застывшим от нетерпения зрительным залом с громко аплодирующей публикой. Изабель ощущала себя совершенно новым существом, этаким героиней оперного представления, бахвалящейся своей женской природой.

Служа Тристану деньгами, украденными у дяди Донашиану, Изабель была одержима идеей служить Тристану и своим телом. Его член, такой мягкий и слабенький, похожий на младенца в чепчике крайней плоти, пугал ее, когда, вырастая, превращался в тяжелый твердый початок с черно-фиолетовыми прожилками вен и складок, увенчанный фиолетовым набалдашником. Она должна укротить это чудовище своим хрупким белым телом. Сила наслаждения, которое она сможет доставить ему, будет мерой ее женской природы. Они смотрели порнографические фильмы по платному кабельному каналу отеля, и Изабель усердно подражала тому, что в них вытворяли женщины. О том, как пользоваться ртом, она знала, в то, что женскую задницу можно использовать так, как показывали в этих фильмах, она сначала даже не могла поверить. Урсула говорила, что задница продается дороже обычного. Тристан считал подобные занятия омерзительными, но Изабель настояла на своем. Правда, лишь через некоторое время она ощутила еще что-то, кроме боли — некое просветление в глубинах своего существа. Это тоже стало частью ее опыта, попыткой раздвинуть его границы. Нырнув во тьму абсолютного повиновения, она вернулась из нее очищенной.

— Я твоя раба, — говорила она любовнику. — Пользуйся мной. Пори меня, если тебе это приятно. Можешь даже избить меня. Только, пожалуйста, не сломай мне зубы.

— Милая, перестань, — почти хныкал в ответ Тристан. Он располнел, и движения его стали немного женоподобными. Он носил пижаму из разрисованного шелка, купленную в Косолашан в магазине под названием «Кришна». — Я не испытываю ни малейшего желания причинять тебе боль. Боль женщинам причиняют лишь те мужчины, которые слишком трусливы, чтобы сражаться с другими мужчинами.

— Свяжи меня. Завяжи мне глаза. Потом нежно, очень нежно касайся меня, а потом будь грубым. Я умираю от тоски по миру, где нет никого, кроме тебя, где ты окружаешь меня, как воздух, которым я постоянно дышу.

— Правда, милая, не надо, — упрекал Изабель ее рыцарь, неохотно принимая те сексуальные изыски, которые она для него

придумывала.

Она оседлывала его початок задом наперед, вылизывала ему задний проход, глотала сперму. Увидев несколько раз подобные сцены по кабельному телевидению, она решила, что Тристан испытает всю полноту ее любви, только овладев ею вместе с другим мужчиной, когда двое мужчин будут общаться друг с другом сквозь ее тело. Она остановила свой выбор на коридорном, том самом, который плевал в коридоре, широколицем мулате, напоминавшем ей Эвклида. Его миндалевидные глаза на мгновение смущенно встречались с ее взглядом, словно спрашивая о чем-то, всякий раз, когда она проходила через фойе отеля. Краснея, она объяснила ему, что ей нужно, заплатив ему из тающей пачки крузейро. Тристан пришел в ужас, услышав, как она излагает свой план смущенному парнишке, уже скинувшему свою униформу и появившемуся перед ними в трогательно чистой рубашке и паре синтетических шаровар.

Изабель испугалась, что Тристан вышвырнет паренька из комнаты, но тот, великодушно подчиняясь ей во всем, позволил Изабель разыграть эту сцену и исполнил свою роль. В зеркалах, расставленных на полу, Изабель увидела белизну своего тела, соединяющего черное и коричневое, подобно человеческому мосту, пропускающему движение в обоих направлениях. Однако только в момент безупречной с точки зрения техники двойной кульминации, когда удары незнакомца стали затихать в ее влагище, а плоть Тристана взорвалась у нее во рту, она поняла, что этот опыт был ошибкой. Некоторые границы она все же не могла переступить. Парнишка постоял немного, одновременно стыдливо и чуть нахально, как будто ожидая чаевых или приглашения остаться, но, заметив угрозу в глазах Тристана, ушел. Он стал ее первым мужчиной, помимо Тристана.

После этой сцены Тристан вел себя с надменным высокомерием, и ей было совсем не просто слезами и лихорадочными оправданиями разрушить неприступную крепость, в которую он обратился. За окнами ночь окутывала неизмеримые бетонные джунгли Сан-Паулу, и только несколько призрачных огней светилось в домах, как будто в каждой из этих комнат скрывалась печальная, ссорящаяся пара, такая же, как и они.

— Ты измарала меня, — говорил Тристан. — Ты бы никогда не посмела разыгрывать из себя такую шлюху, будь твой муж из других кругов. Ты считаешь, что у меня нет ни малейшего понятия ни о стыде, ни о культуре, раз я черный и родом из фавелы.

— Я пыталась сделать тебе приятное, — всхлипывала Изабель. — По телевизору показывают, что мужчинам это нравится. Присутствием свидетеля я пыталась сделать нашу любовь богаче. Разве ты не видел, как мерзко я себя чувствовала? Мне было ненавистно ощущать его в себе. Однако твое наслаждение — мое наслаждение, Тристан.

— Мне это не было приятно, — холодно произнес он, восседая на подушках. На нем были шелковые пижамные брюки, как у наложницы из гарема. — Это тебе доставляло удовольствие разыгрывать из себя потаскуху. Ты позволила окунуть себя в дерьмо, когда тебе засунули в обе дырки.

— Да-да! — воскликнула она и повалилась рядом с ним на кровать, словно это откровение оглушило ее. Она продемонстрировала полноту своей самоотверженности тем, что распласталась, как труп в покойницкой, не смея пристроиться хотя бы на уголок подушки. — Я

потаскуха, похлеще твоей матери, которую оправдывает нищета.

— А меня ты считаешь дерьмом из-за цвета моей кожи, как тот застенчивый клерк из «Отон Паласа». Ты думаешь, будто я из таких низов, куда не проникают ни порядок, ни честь. Однако надежда на порядок и честь существует везде — ее приносят добрые духи. Мы знаем, что такое порядок, приличия и честь, хотя и не видим их в своей жизни.

— Позволь мне вылизать все твое ангельское тело, Тристан.

Скажи, чем я могу вернуть если не любовь твою, то хотя бы право остаться твоей рабой?

Она приподнялась на кровати и легонько пощекотала языком его сосок. Милый, атавестический бугорок кожи отвердел, несмотря на Тристанов величественный гнев.

— Жребий брошен, — сказал он, будто произнося себе смертный приговор, и ударом раскрытой ладони сбросил ее голову со своей груди. — Ты отдалась этому наглецу. А если ты забеременеешь от него?

— Я не думала об этом. Я просто хотела, чтобы он был с той стороны, где я не могу его видеть, а ты был там, где тебя можно увидеть и испробовать на вкус.

— Так испробуй же вот это, — сказал он и снова ударил ее раскрытой ладонью, чтобы не оставить следа, совсем не так, как обращался с другими женщинами, к щекам которых он приставлял лезвие бритвы. Тристан, как и обещал, не станет причинять ей вреда. Он, правда, бил ее той ночью, но делал это аккуратно, нанося удары только по предплечьям и ягодицам, а потом опять спал с ней, и она прижималась к его твердому члену, который снова и снова бился в судорогах, изливая мужскую жизненную силу.

— Если я и сделала ошибку, — осмелилась она наконец после долгой ночи их взаимного погружения друг в друга, — то лишь из любви к тебе, Тристан. Я больше не знаю, что значит быть эгоистичной.

Он фыркнул в темноте, и ее голова мотнулась у него на груди.

— Это мужская любовь лишена эгоизма, потому что он сдает все в войне против всех и вся, — заявил он. — А для женщин любовь — это эгоизм; ее призвание давать и получать — это для нее одно и то же, так же как движение члена туда и обратно во время полового акта равнозначны для мужчины. Любовь вам необходима в той же мере, в какой мужчине ненависть.

Она покорно прижималась к нему в темноте (однако в этой комнате с высокими потолками она не была абсолютной. Огни Сан-Паулу превратили ее в экран телевизора, который продолжает некоторое время светиться, даже когда его выключат), ее ссадины болели, обжигая ее, как горячие поцелуи зверя. О Боже, подумала она, может ли и в самом деле это постоянное истечение любви из каждой поры ее тела оказаться тем, что отличает женскую любовь от кратковременного блаженства мужчины в момент извержения клейкого семени, когда он стоит, будто раненный? Оно так кратко и остро по сравнению с непрекращающимся истечением женской любви, этим постоянным дарением, испарением любви над озером ее существа, этим сладострастным поглощением любимого, подобно легендарным каннибалам Амазонии, которые поедали мозги друг друга. Одно только произнесение его имени вызывало у Изабель сладострастное наслаждение. Во время этой долгой ночи Изабель почти не спала,

поскольку Тристан то и дело расталкивал ее, гневно закачивая в нее свою сперму, будто хотел, чтобы его сперматозоиды догнали и уничтожили все, что осталось после другого мужчины; и с той восхитительной жадностью, присущей молодым любовникам, усваивающим уроки, она поняла одну важную вещь: то слабое и нежное пламя любви, которое ей удалось зажечь в нем и которое освещает его даже во сне, никогда не погаснет. Что бы ни случилось с ее упругим, гибким телом, огонек этот будет дрожать, как пламя свечи в церкви, когда открывают двери, и только. И очень скоро, предсказала она себе, Тристан сам предложит ей позвать в комнату коридорного.

Шикиниу

Тристана подташнивало, будто он объелся сладким. Он ждал, когда пачка крузейро кончится и они с Изабель окажутся брошенными на произвол судьбы в этом мире; тогда он наконец возьмет на себя роль ее защитника. Готовясь к этому, он всерьез занялся поисками брата Шикиниу. Адреса у него не было, а город представлял собой громадный лабиринт, и рядом не было ни океана, ни гор, которые служили бы ориентиром. В одних районах жили японцы, в других — итальянцы, были и еврейские и арабские кварталы с вывесками на непонятных языках. Негров меньше, чем в Рио, и климат более суровый — нет поблизости моря. Яростные грозы и порывы ветра обрушивались на город с необъятных просторов, тянувшихся к западу. Тристан уже не чувствовал себя хищником, хозяйничающим на своей территории, хотя он, чтобы не потерять навыки, и ограбил нескольких чересчур беспечных белых, пригрозив им бритвой. Он стал смущенным и неуклюжим, будто сам боялся стать жертвой чудовищных сил, населивших этот город.

Люди здесь, в отличие от Рио, не проводили утро на пляже, а по-европейски деловито суетились на улицах, продавая друг другу товары и заключая сделки с восторгом кариоки, пишущего романс, — мужчины в темных костюмах шагали плечом к плечу группами по трое или по четверо вдоль тротуаров, восторженно жестикулируя и крича от переполняющей их любви друг к другу и к своим прибыльным делам. Только время от времени в опустошенных лицах длинноногих проституток, прогуливающихся по Руа-дос-Андрадас, или в плачущих свечах у подножия статуи под названием «Мать Африка» около Виадуту-ду-Ша угадывалось присутствие истинной жизни, жизни экстатической и духовной, которая продолжалась под покровом деловой суматохи. Тристан купил несколько карт Сан-Паулу, но ни одна из них не совпадала с предыдущей. Автобусные маршруты извивались, как раненые змеи, и когда он вылезал из автобуса, едва держась на ногах от качки и круговерти улиц, оказывалось, что он вместо севера отправился на юг. Тем не менее он продолжал рыскать по городу, оставляя после ночи любви Изабель отсыпаться или читать романтические книжки, и отыскивал в конце концов промышленные районы: длинные бесконечные ряды теснящихся домиков, похожих на хижины Рио, однако построенных из более прочных материалов на прямоугольных участках земли, и грязно-серые здания фабрик, сам внешний вид которых свидетельствовал о тяжелом труде. Тем не менее эти строения казались пустыми и неподвижными, словно работа в них проходила в виде больших природных циклов, где благодатный сезон дождей намного короче засухи. Из-за глухих стен он слышал шум машин, которые что-то стремительно вязали, дробили, мешали, прессовали и упаковывали. Между этими беспорядочно

разбросанными по пустырям зданиями с черневшими, как дырки между зубами, оконными проемами вились ржавые рельсы железнодорожных путей, по которым не ходили поезда; на огороженных участках высились штабеля причудливых бетонных блоков и деревянных контейнеров, которые медленно разлагались, возвращаясь в свое природное состояние. В самых неожиданных местах поселков вдруг возникали маленькие оазисы жизни, состоящие из лавочек, баров, парикмахерских, кабинетов глазных врачей, будочек гадалщиц и сапожников; их владельцы с трудом сводили концы с концами, существуя за счет грошей, полученных от клиентов, а те, в отличие от бедняков Рио, казались Тристану отчаявшимися и грязными, угрюмыми и дурно одетыми существами, которых зовут пролетариями. Он останавливал кое-кого из них и спрашивал, не знают ли они человека по имени Шикиниу. Но Шикиниу никому не был знаком. Прохожие смеялись над простодушным Тристаном, надеявшимся по одному только имени найти человека в просторах Сан-Паулу, величайшего города Южной Америки. Когда он, уточняя, добавлял к имени фамилию — Рапозу, — они слова начинали смеяться. В городе живут сотни Рапозу, говорили они, не доверяя этому хорошо одетому негру с акцентом кариоки, который произносил «с» как «ш», словно подражая прибору.

Старший брат покинул фавелу, когда Тристану не исполнилось и шести лет. Самому Шикиниу тогда было одиннадцать или двенадцать. Тристан помнил только его печальные бледные глаза и болезненную тонкую шею. Шикиниу двигался сквозь мрак и ослепительный солнечный свет жизни подобно хрупкой абстрактной фигуре. В нем не было гибкости, и кисти его костлявых рук все время болтались. Наверняка за тринадцать лет брат изменился до неузнаваемости. Но нет: Тристан без труда узнал его, когда встретил на широком тротуаре у отеля.

— Брат, — без улыбки произнес высокий худой человек.

Казалось, он давно поджидает Тристана.

Шикиниу был намного светлее своего брата, и кожа его цветом напоминала дешевые светло-коричневые плитки, какими мостят дворы. Его отец, скорее всего, был белым, поскольку из-под сморщенных век на Тристана глядели холодные, как алюминий, глаза. Со времени их расставания Шикиниу прошел путь от мальчика до мужчины. Мелкие морщинки появились вокруг глаз и губ — он часто щурился и кривил рот.

— О, как долго я тебя искал! — сказал Тристан, когда они обнялись, как подобает братьям.

— Да, мне говорили о тебе, — ответил Шикиниу. — Но я не бываю там, где ты обо мне спрашивал. Это чудо, что мы встретились с тобой в таком огромном городе, который каждый день пополняется сотнями новых жителей.

Он говорил с неприятной задумчивостью: губы его двигались, а взгляд серых глаз оставался неподвижным.

— Шикиниу, я теперь не один. У меня есть спутница, жена, и мне нужно получить работу на автомобильном заводе.

— Я больше не делаю «жуков». Я теперь занимаюсь электроникой. Правда, я слишком плохо образован для такой работы, поэтому застрял на низшем уровне — я убираюсь на фабрике, где не должно быть ни одной пылинки. Мы изготавливаем такую сложную и тонкую штуку, которая способна решить любую математическую

задачу с быстротой управляемой молнии, и пылинка может навредить так же, как камень, попавший в двигатель автомобиля. Теперь, в свете политики просвещенного капитализма, заменившей опасные социалистические эксперименты Квадроса и Гуларта, мне позволено возглавлять бригаду уборщиков и одновременно ходить по вечерам на курсы, которые откроют мне тайны новой технологии. Но почему ты заговорил о работе? Ты одет как богач и уже много дней живешь в отеле, где берут деньги за час, и деньги немалые.

— Мы с женой украли немного денег, но теперь они уже почти кончились. Инфляция сожрала их, да и мы себе ни в чем не отказывали. Пойдем, я хочу вас познакомить. Она красива и предана мне, как святая. Ее зовут Изабель Леме.

Шикиниу неуклюже махнул рукой поперек груди, показывая на поношенную рубашку. Рубашка была белая с короткими рукавами — из тех, которые носят инженеры. Даже пластмассовая пластинка в карман вшита, чтобы не перепачкаться чернилами, ручки у него не было, а уголки воротничка обтрепались.

— Мне стыдно встречаться с ней в таком виде. Вы должны приехать к нам в гости. У меня тоже есть жена. Ее зовут Полидора. Вот тебе адрес, дорогой Тристан. На нашей улице уже есть электричество, и город обещает провести канализацию. Доедешь на автобусе до Белема, а оттуда пойдешь к югу в Мооку, по этой схеме. Он торопливо начертил карту и предложил завтрашний вечер, добавив:

— В Сан-Паулу есть работа, но сюда приезжает много народу с северо-востока, из-за них уменьшаются заработки, но они не задумываясь перережут глотку всякому, кто попытается им угрожать. Но для тебя я наведу справки. Как поживает наша благословенная мать?

— Как всегда, проклиная все на свете.

Шикиниу позволил себе улыбнуться и еле заметно кивнул. По спокойному выражению его стальных глаз Тристан догадался, что это для него не новость и спросил он только из вежливости.

— Мы с Полидорой будем ждать вас обоих, — горячо заверил Тристана Шикиниу, когда они расставались. — Не оставляй жену дома.

Было очень странно, что они так удачно встретились в районе Кампус Элисеус, куда Шикиниу наверняка редко наведывался. Тем не менее Тристан с благодарностью встретил новый поворот судьбы и вернулся в отель, чтобы сообщить Изабель о начале настоящей совместной жизни, жизни в реальном мире, а не в этих роскошных апартаментах. От безделья Изабель увлеклась мыльными операми, которые в дневные часы передавали по радио, и дублированными телевизионными передачами вроде «Я люблю Люси». Как и Тристан, она тоже стала прибавлять в весе.

Ранчо

На последние деньги они взяли такси и, следуя указаниям Шикиниу, отправились к нему по плоскогорью, которое еще совсем недавно было плантацией кофе, а теперь было утыкано столбами с электрической проводкой и дорожными указателями. Улицы здесь по-прежнему оставались немощеными, повсюду валялся блестящий металлолом и промышленные отходы, а небо затягивала пелена дыма, однако домики под красными черепичными крышами имели по несколько комнат и веранду, выходящую в собственный дворик. У

своего порога Шикиниу выглядел как никогда хрупким. Приветливая улыбка походила на глубокую рану, а голова, казалось, вот-вот упадет с тонкой шеи. Его жена Полидора напоминала свежеиспеченный пышный каравай с золотистой поджаристой корочкой. Волосы свои она покрасила хной, взбила и уложила в большой пучок. Свои большие глаза она, словно стараясь соответствовать прищуре Шикиниу, держала полуприкрытыми. Ее пухлое личико, похожее на пончик, лоснилось от пота — Тристан объяснил это впечатлением, произведенным красотой и высоким положением ее гостыи. Полидора с преувеличенной дружелюбностью обняла Изабель, а затем, крепко вцепившись в ее тонкую белую руку, потащила за собой в большую комнату позади прихожей. Тристан последовал за ней, его крепко держал под руку Шикиниу. В этой комнате двое мужчин в серебристо-серых костюмах поднялись со стульев и направили на гостей пистолеты.

Тристан вспомнил было о своей бритве, но тут же сообразил, что бритву он с собой не взял. Обычно он держал ее в маленьком кармашке расклешенных джинсов, которые они с Изабель купили в магазине «Полихром», однако сегодня, одеваясь, они решили, что повседневные штаны могут оскорбить мелкобуржуазный вкус брата, и Тристан облачился в свободную шелковую рубашку с накладными манжетами на светло-желтых рукавах, полотняные брюки цвета сливок и ботинки с кисточками на шнурках. Так что бритвы у него не было.

Да и как может противостоять бритва против двух пистолетов?

Старший из двоих пистолетчиков, грузный красивый меланхоличный мужчина, который поседел на службе у богачей, махнул вороненым стволом, предлагая им присесть на обитый клетчатой тканью диван у желтой стены, украшенной двумя аляповато раскрашенными гипсовыми попугаями, составляющими одно целое с круглыми гипсовыми рамами. По капризу художника хвосты и клювы попугаев располагались за пределами рамы, как бы спрашивая зрителя: где здесь искусство, а где реальность?

На диване Тристан почувствовал, что Изабель дрожит, словно в горячке любви, когда женщина ставит на кон свою жизнь в момент сексуального самозабвения. Тристан отогнал мысль о том, что из-за этого тела он с самого начала то и дело попадал в трудное и даже опасное положение, и обхватил плечи Изабель, готовый закрыть ее собой, если понадобится. Хотя он тоже дрожал, голова его оставалась необычайно ясной и мысли, словно электрические импульсы, рожденные опасностью, исследовали варианты возможного развития событий. Он сразу понял, что сейчас будут говорить вооруженные люди.

— Не тревожьтесь, друзья мои, — сказал мужчина с благородной сединой в висках и аккуратными седыми усиками. — Мы прибыли сюда только для того, чтобы проводить молодую госпожу в Бразилиа, к ее отцу. Около десяти вечера из Конгоньяса отправляется самолет, у нас еще много времени. Мы уж думали, что вы опоздаете, как того требует нынешняя мода. Давайте выпьем.

— Я плюну в бокал, который предложит мне Иуда, называвшийся моим братом, — сказал Тристан. Обращаясь к Шикиниу, он спросил:

— Чем ты можешь оправдать свое предательство?

Шикиниу пошевелил сложенными на груди руками, будто прогонял мух.

— Эта любовная связь унижает тебя, брат. Ты потерял твердость

характера, ты стал изнеженным и лощеным, как мужчина, которого содержит женщина. Лучше предать тебя, чем эту платиновую девочку. Богачи всегда в конце концов возвращаются в свое убежище. Небольшой суммы, обещанной ее семьей за мое сотрудничество, хватит, чтобы оплатить мое образование. Я стану дипломированным инженером-электриком!

Милое обезьянье личико Изабель сморщилось, возмущение и слезы боролись в ней, и все же ее тело рядом с Тристаном неожиданно обмякло. Сокровенные глубины нашего существа рады нашим катастрофам. Ее собственное образование начинало выходить за рамки сексуальных трюков и мыльных опер для домохозяек.

— Как ты узнал о нас? — тихо спросила она Шикиниу. — От Урсулы?

Тристану стало горько за нее: он понял, что, решившись полюбить его совсем не милую мать, Изабель поставила перед собой невероятную по своей извращенности задачу. Любовь к его матери была ее собственным изобретением и первым уязвимым плодом их женитьбы.

— Ах нет, госпожа, — ответил Шикиниу, словно сжалившись над ней. — Наша благословенная мать живет на таком дне, что ей недоступны электроника и средства общения с невидимыми людьми. С тех пор как четырнадцатилетней она догадалась выставить на продажу собственное тело, других дельных мыслей у нее не возникало. Меня предупредил Эвклид, воспользовавшись услугами нашей не слишком надежной почты. Он сообщил, что Тристан прибудет в Сан-Паулу со своим сокровищем. Сначала я ждал, когда же он найдет меня, но перед просторами города он оказался бессильным. Поэтому я сам нашел его. Мне подсказали, что искать нужно в «Отон Паласе», и тамошний клерк с радостью мне помог. Он запомнил вас обоих и просил заверить тебя, что выставил вас не из-за расовых предрассудков, а из уважения к чувствам других гостей, многие из которых приезжают из-за границы, где общество не столь терпимо, как в нашей стране.

— Что будет с Тристаном? — спросила Изабель, затаив от ужаса дыхание. Рот ее приоткрылся, обнажив жемчужные зубы и бархатный язычок. Ее ум, привычный к логике богатства и власти, быстрее Тристана ухватил главную проблему, возникшую его присутствием: если оставить его на свободе, он причинит беспокойство. Тристан может отыскать жену в столице, может попытаться похитить ее или даже — что за чудовищная мысль — обратиться в полицию. Почуввав ее ужас, Тристан понял, что самый надежный способ разлучить их с Изабель — это убить его. Казалось, будто в комнате включили электричество или вдруг разразилась одна из тех страшных бурь, во время которых Сан-Паулу погружается во мрак и все вещи превращаются в собственное негативное изображение: тени становятся белыми, а стены — черными. Он увидел вдруг, насколько неслышное присутствие двух пистолетов изменило атмосферу в комнате. Смерть, обычно находившаяся в немыслимой дали, вдруг оказалась совсем рядом, в паре шагов, придавая всей обстановке хрупкость и непрочность бумаги. Контуры комнаты, начиная с темных углов и кончая швами на обивке дивана и шестигранными плитками пола того же цвета, что и кожа Шикиниу, словно стали видны под другим углом зрения. В атмосфере появилась торжественность, разговоры стали мягкими, а самые обычные жесты приобрели величавость движений лунатиков. Полидора принесла поднос с

напитками — высокие полупрозрачные бокалы с соком для тех, кто не хотел спиртного, и коктейли из кашасы с соком лайма, сахаром и дробленным льдом для остальных. Изабель взяла коктейль, чтобы утихомирить разбушевавшиеся чувства, а Тристан решил пить сок на тот случай, если вдруг появится возможность принять быстрое решение. Из кухни потянуло запахом тушеной говядины.

Бандит помоложе, у которого не было усов, а виски еще не поседел, успокоил Изабель:

— Он станет моим другом. Сезар проводит молодую госпожу в столицу, а я останусь здесь с молодым человеком, который, естественно, поначалу будет во власти мыслей о мести и спасении возлюбленной. Дом здесь просторный, нам всем здесь будет хорошо — мы останемся на недельку-другую, пока молодая госпожа в целости и сохранности будет водворена под присмотр своего отца. Меня зовут Виргилиу, — с легким поклоном добавил он, обращаясь к парочке на диване, впрочем, не опуская при этом пистолет.

— Господин, у нас двое детей, им же нужно где-то спать, — запротестовала Полидора.

— Мадам, вам заплатят.

— Я никогда не вернусь под надзор отца! Я уже взрослая женщина, у меня есть свое место в мире. Вся моя жизнь, с того дня, когда умерла моя мать, прошла без отца: он оставил меня на попечение своего братца! — на одном дыхании выпалила Изабель.

Почувяв скандал, Сезар — старший из бандитов — был вынужден защитить своего нанимателя, а возможно, и всех тех людей, которые, как и он, поседел к середине жизни и по понятным причинам не могли выполнить все то, что требовали от них окружающие.

— Госпожа Изабель, ваш отец — влиятельный человек, который отдал всю свою жизнь управлению страной.

— Так почему же не видно результатов этого управления?

Бедняки остаются бедными, а богатые правят с помощью оружия. — Как бы оправдывая предсказания дяди относительно ее радикальных взглядов, Изабель дерзко вскочила и бросила вызов бандитам: — Почему я должна делать то, что вы мне говорите? Вы не посмеете причинить мне вреда — отец с вас шкуру спустит.

— Это правда, — вежливо согласился Сезар с ней. — Но это не относится к вашему черному другу, вашему мужу, если угодно. Мир не заметит его исчезновения. Его будет не хватать только вам. Смерть вашего мужа останется незамеченной даже во время переписи населения, поскольку он, без сомнения, не зарегистрировался для призыва в армию. А если его вам мало в качестве заложника, подумайте о наших хозяевах, — он показал стволом пистолета на Шикиниу и Полидору, которые готовились подать им обед, — и их детях. Ведь они могут вернуться с прогулки и найти своих родителей мертвыми, и, хотя эти смерти будут замечены, наша полиция не найдет убийц — у нее и так слишком много работы. Не думайте, что эти угрозы — пустая бравада. Реальность все чаще и чаще сводится к статистике, а в такой большой стране, как Бразилия, все мы, здесь присутствующие, для статистики мало что значим.

На этот раз запротестовал Шикиниу:

— Я добровольно предоставил вам сведения, которые вывели вас на след, а вы теперь угрожаете мне смертью.

— Человек, предавший собственного брата, заслуживает смерти, — оборвал его Виргилиу. Обращаясь к Тристану, он добавил,

обнажив в приятной улыбке неровные зубы, которые словно танцевали самбу у него во рту: — Видишь, каким добрым и верным другом я уже стал для тебя. Иногда брат по духу лучше брата по крови.

Изабель, казалось, разрывает на части, как марионетку, которую разом дергают за все веревочки; как странно, отметил про себя Тристан, два пистолета, будто карандаши, очертили новые границы комнаты, сведя множество возможностей к нескольким узким коридорам риска. Их дух словно истаял, стараясь не упасть с натянутого каната. Изабель казалась спокойной.

— Если меня отправляют к отцу, я хочу забрать свою одежду. Она в отеле. Раз уж нам нужно попасть в аэропорт к десяти, то на еду у нас нет времени, пора ехать, — объявила она своему новому сопровождающему, по-отечески ласковому человеку в сером костюме, делегату той власти, которая сформировала ее.

— Так тому и быть, — удовлетворенно сказал Сезар. Потом он обратился к Полидоре: — Примите наши сожаления. Ваша фейжоада очень вкусно пахнет. Мой молодой помощник съест мою долю. — Он повернулся к Шикини: — Половина вознаграждения у тебя в кармане. Получишь ли ты вторую половину, зависит от твоего гостеприимства и желания сотрудничать с нами. Прощай, друг мой, — сказал он Тристану. — Кому-то из нас двоих не посчастливится, если мы встретимся снова. Пойдемте, госпожа, — обратился он к Изабель. — Как вы сами изволили заметить, самолет не станет нас ждать. Изабель наклонилась и поцеловала Тристана, и поцелуй ее был мягким, как облако, и теплым, как солнце. Она словно говорила: «Храни веру».

Но мог ли он положиться на нее? Когда его жена уходила, то до странного естественно опиралась на руку своего уважаемого похитителя. Вернувшись в отель, она надела довольно дерзкое платье с маленькими красными цветочками, рассыпанными по темно-синему фону. Платье это нельзя было назвать ни официальным, ни небрежным: ей пришлось два или три раза переодеваться, чтобы подобрать одежду в тон брюкам Сезара и его свободной, но все-таки украшенной манжетами рубашки, в которой он выглядел уважаемым и в меру элегантным. Сегодняшний визит к брату Тристана должен был стать их первым совместным выходом в свет. Наверное, они хотели слишком многого достичь за слишком короткое время.

После ухода Изабель Тристан немного пришел в себя, а когда Полидора принесла кастрюльку с перченым тушеным мясом, напряжение и вовсе улетучилось. Виргилию снял серый пиджак и засунул пистолет в кобуру под мышкой, а Шикини заменил бокалы бутылками пива «Антарктика». Маленькие племянник и племянница Тристана — Пашеку и Эсперанса — пришли с улицы, где уже совсем стемнело. Темнокожие сероглазые ребяташки трех и пяти лет веселили взрослых своей невинной дерзостью. Их взгляды не отрывались от пистолета Виргилию: его рукоятка торчала из кобуры, как хвост зверька, прячущегося в норку, и Виргилию, уловив, какие мысли пришли им в голову, устроил маленький спектакль, вытаскивая пистолет и засовывая его обратно с выражением ужаса на лице: «Бах! Трах! Ой-ей-ей!»

Когда пиво кончилось, на столе появилась прозрачная кашаса, и четверо взрослых начали обмениваться шутками по поводу мира за тонкими стенами этого дома и его хрупкой крышей, они подтрунивали

над всеми — над богачами, над большими шишками, над гринго, аргентинцами, парагвайцами, над немецкими и японскими фермерами провинции Сул с их смехотворным произношением, ограниченными пуританскими привычками и одержимостью трудом. Настоящие бразильцы, весело соглашались они, неисправимые романтики, они порывисты, непрактичны, обожают удовольствия и все без исключения — галантные идеалисты и жизнелюбы.

У Тристана кружилась голова, когда он отправился спать. Стены комнаты раскачивались почти так же, как под воздействием магнитного поля пистолетов. Место ему отвели в детской, детей же перевели к родителям. Тристан спал на одной из кроваток, а на другой, загородив ею дверь, улегся Виргилию. Единственное окно в комнате зарешечено, чтобы уберечься от воров, которые стаями бродили по кварталу медленно богатеющего рабочего класса.

Вот уже много недель Тристан не ложился спать без Изабель. Ему уже стало трудно отличать ее тело от своего собственного. Оно горело в нем, как перец в желудке, и жгучая тоска снедала его. Жизнь, как он обнаружил, состояние относительное и не стоит ломаного гроша. Не стоит отсутствия Изабель, отсутствия ее влажного лона на его початке, ее тихих стонов, теплого облака ее губ, прикасающихся к его устам со словами: «Храни веру». Она не была смертью, однако в белизне ее тела присутствовала чистота смерти. Тристан проглотил рыдания, чтобы не разбудить соседа по комнате. Он начал строить планы побега и вскоре уснул.

Бразилиа

В полночь с высоты птичьего полета огни Бразилиа образуют на просторной черной доске страны силуэт самолета с длинными изогнутыми крыльями. Город сначала словно плывет в пустоте, как созвездие, а затем устремляется к взлетной полосе, расположенной под наблюдателем. Приземляетесь вы с легким шорохом, как будто под колесами нет твердой земли. Воздух в аэропорту прохладный, и, несмотря на поздний час, в нем на удивление людно, поскольку в этом городе не многим хотелось бы жить, но приезжать туда приходится многим.

Сезар назвал таксисту адрес отца Изабель — улица Эйшу-Родовариу-Норте, где в гигантских вертикальных бетонных плитах располагались квартиры больших шишек из правительства. Воспоминания о столице вернули Изабель в раннее детство, когда она случайно услышала споры между дядей Донашиану и отцом по поводу решения президента Кубичека выполнить свои предвыборные обещания и построить столицу страны в глубине материка. Такова бразильская мечта, говорил ее отец, столь же древняя, как и мечта о независимости, уходящая корнями еще в «Инконфиденция минейра»[5]. «Ну и пусть она остается мечтой, — возражая, спорил дядя, — если бы мы добивались исполнения всех своих мечтаний, мир превратился бы в сплошной кошмар». Слухи об этом событии наполняли маленькую Изабель странным чувством, как будто душа ее лишилась равновесия или землетрясение унесло прекрасный Рио в океан. Примерно через год, после болтанки на маленьком, низколетящем самолете, она вместе с отцом приземлилась среди гор свежевыкопанной красной земли и тысяч бедных крестьян из сертана, которые, как муравьи, трудились над выполнением невысказанного плана. Потом они с отцом вернулись туда снова, и всюду уже высились каркасы зданий, гигантские желтые грузовики с деловитым ревом

сновали по немощным улицам, а приземистое округлое здание собора уже выпустило щупальца — опоры бетонного купола. Теперь же план был осуществлен полностью, каменную столицу страны построили, и она походила на прекрасную статую, ожидающую, когда в нее вдохнут жизнь. Черное пространство сертана и пустое спокойствие безжизненной ночи по-прежнему окружали огни ослепительной диаграммы на черной доске.

Охранники у входа в здание были предупреждены о приезде Изабель, поскольку оба они — невысокие, широкоскулые и жилистые кабоклу[6] — бодрствовали и униформа их выглядела свежей. Тем не менее Сезар сам проводил Изабель до лифта и поднялся с ней на этаж, где просторная квартира ее отца раскинула свои крылья, повторяя в миниатюре саму Бразилиа. Передавая Изабель и ее багаж с рук на руки высокому сутулому слуге, встретившему их у дверей, Сезар поднял ее белую ручку к губам и поцеловал костяшки пальцев, недовольно стиснутые в кулак.

— Слушайся своего папу, — с любовью в голосе посоветовал он. — В Бразилии немного политических лидеров. Португальцы, в отличие от испанцев, не принесли в Новый Свет дисциплину и порядок. Если мы не столь жестоки, как они, а просто грубы, то это потому, что нам лень обзавестись идеологией. Церковь слишком терпима. Даже женские монастыри стали борделями. Это скорее походило на заключительную часть лекции, которую профессор комкает, ибо время поджигает. Сезар много и успешно занимался самообразованием: он поставил за правило читать не менее одной книги в неделю и научился испанскому, французскому и английскому. Немецкий оказался слишком труден для него, по крайней мере сейчас. Когда его карьера убийцы и вымогателя подойдет к концу: «Это игры для молодых людей, госпожа, когда стареешь, становишься слишком мягкосердечным», — он надеется купить собственный лимузин и стать гидом. Причем, имейте в виду, он будет водить экскурсии не только по большим городам, где командированному бизнесмену ничего не надо, кроме сексуальной мулатки, он повезет людей в глубинку, где богатые вдовушки и школьные учителя из Канады обязательно захотят посетить живописные городки вроде Ору-Прету и Олинде, полные реалий колониальной истории и церковей XVIII века с резьбой по камню, выполненной Алейжадинью: «Он был карликом и калеккой, госпожа, а мать у него была черной рабыней; кто посмеет сказать, что в Бразилии добрый человек не пробьется в люди?» — и, разумеется, он не забудет легендарную Амазонку, знаменитый на весь мир оперный театр в Манаусе и бескрайние просторы страны, которые сами по себе станут привлекать туристов со всего света, поскольку свободного места на земле остается все меньше. Только Сибирь и Сахара могут соперничать с бразильскими просторами, но климат там отвратительный. Вот почему правительство в мудрости своей разместило столицу в центре страны и прокладывает дороги сквозь девственные леса. «Дороги — это прогресс, и человек, который проедет по ним, будет человеком будущего».

Фальшивые назидательные нотки его голоса еще звучали в ушах Изабель, не оправившейся после полета, когда она пошла спать в свою комнату в конце длинного, слегка изогнутого коридора. Эта комната, вся обстановка которой состояла из узкой кровати и письменного стола, «принадлежала» ей, хотя за восемнадцать лет своей жизни она

провела там не более ста ночей. Отец, лишь сегодня прилетевший из Дублина, разумеется, уже спал. Она представила его себе — неподвижный, как кукла, с черной маской на глазах. Годы путешествий на самолетах научили его спать в нужное ему время. Он с нетерпением ждал разговора с дочерью утром за завтраком, в 9:30, объяснил ей высокий слуга, парду[7], чья кожа имела мрачный зеленоватый оттенок. Пухленькая маленькая женщина, наверное, жена слуги, в накрахмаленном синем платье, спросила, не хочет ли сеньора чего-нибудь — лимонада, снотворного, еще одно одеяло? Эта парочка — худой мужчина и толстая женщина, оба внимательные и раболепные — напомнила Изабель о предательстве Шикиниу и Полидоры, и она устало отмахнулась, желая остаться наедине со своей печалью, чтобы вкусить ее горечь и осознать ее пределы.

Изабель заметила, что ее мятеж заставил тех, кто имел власть над нею, по-новому, с вниманием и уважением, относиться к ее особе. Так мирские власти выдают свою слабость и трусость, подумала она, залезая обнаженной в убогую девичью постель. Она слишком устала, чтобы искать ночную рубашку в своих чемоданах. Своей наготой Изабель как бы бросала вызов окружавшему ее прямоугольному городу — темнице, в которой томилось сердце Бразилии, — и соединяла ее тело с чернотой Тристана. Она захотела помолиться за него, но, вспомнив о Боге, тут же вспомнила самого Тристана, его черные, тоскующие и властные глаза, впервые разглядевшие ее на сверкающем пляже.

Отец Изабель, которого при рождении нарекли Саломаном, был старше и сильнее дяди Донашиану, но меньше ростом. Его выпуклый лоб, переходящий в лысину, беспокойно нависал над лицом, будто оплыл под солнцем. Перед завтраком он надел брюки в серую полоску, черные носки в рубчик и тапочки, а сверху накинул темно-бордовый шелковый халат. Очень скоро его черные носки окажутся в узких лакированных туфлях дипломата и политика. Изабель заметила, что разговор с дочерью был для него такой же намеченной на сегодня встречей, как и многие другие, которые последуют за ней. Он уже успел погрузиться в чтение газет на разных языках, стопкой лежащих у его тарелки, и встал с таким видом, будто его прервали.

— Мое прекрасное блудное дитя, — приветствовал он ее, как бы задавая тему встречи. Он запечатлел на обеих щеках и на губах Изабель поцелуй, который с самого детства напоминал ей о багаже, только что вынутом из неоттапливаемого багажного отделения самолета, где царит неземной холод стратосферы. В ее воспоминаниях он всегда приезжал к ней с другого конца планеты; его квартира, занимавшая целую сторону здания, была настолько просторной (в отличие от квартиры дяди Донашиану), что в ней никогда не становилось тесно от тех вещей, которые отец привозил из разных стран, где он работал или просто бывал по делам, и теперь тибетское танка с двухметровым квадратным изображением космического древа сверкало золотой паутиной на фоне багровой и зеленой вселенной до ее сотворения позади туалетного столика в стиле Людовика XV, на котором соседствовали вазы черного фарфора эпохи династии Чин и древняя деревянная статуэтка из Мали. На стенах квартиры дяди Донашиану висели большие и яркие абстрактные картины, отец же предпочитал небольшие гравюры с изображением исторических сцен и строений или двухцветные японские гравюры, где формальная строгость композиции сводила на нет грубость содержания.

Отец сидел напротив за низким столиком, инкрустированным под гигантскую шахматную доску.

— Надеюсь, ты хорошо выспалась, — начал он беседу.

Она поняла, что отец решил одарить ее тем же уважением и глубоким вниманием, какого заслуживает коллега-дипломат. Тем не менее глаза его то и дело нервно пробегали по верхней газете из стопки, высившейся рядом с его тарелкой, чьи заголовки говорили о беспорядках, локальных боях и грозных признаках скорой мировой революции.

— Я быстро уснула, отец, потому что устала во время путешествия, навязанного мне твоим подручным. Но я проснулась в четыре утра, не понимая, где нахожусь, и с ужасом поняла, что я в плену и мне отсюда не выбраться. Я чуть не закричала от страха. Я хотела было выпрыгнуть в окно, но эти модернистские рамы не открываются.

Она впилась в белоснежный полумесяц ломтика мускатной дыни, успев перед этим съесть булочку с маслом и три поджаристых кусочка ветчины. У нее больше не было разборчивости девственницы.

— И что, — спросил ее отец, — ты больше не спала?

— Спала, — угрюмо созналась она. — Я уснула на час или два.

— Ну, что же, — немного торжественно произнес он и снова бросил взгляд на газету. — Мы быстро приспособляемся к обстоятельствам — настолько быстро, что наш дух начинает считать тело предателем.

— Я уснула, — сказала она, — вообразив, что лежу в объятиях моего мужа, где мне и следует находиться.

— Так же, как тебе следует находиться в отеле «Амур», платить по невообразимым счетам и совращать коридорного. Ты устроила себе затянувшиеся каникулы, милая Изабель, и я был вынужден вернуть тебя к реальной жизни.

И все же говорил он, как с сожалением отметила Изабель, как-то осторожно и неуверенно, и глаза его то и дело перескакивали с одного газетного заголовка на другой, а губы чуть кривились в конце каждой фразы, обнажая маленькие и округлые, как у ребенка, но пожелтевшие от времени зубы. Ее отец, как она впервые в жизни осмелилась себе признаться, был маленьким и чувствительным мальчиком, которого легко запугать, но который будет педантично строить планы отмщения. Земная власть была его мезью окружающему миру, и вот теперь эта власть оказывалась беспомощной.

— Жизнь в Бразилиа трудно назвать реальной, — заявила она, — да и ты едва ли был мне настоящим отцом. Ты всегда оставался для меня туманной, недоступной звездой, какой, возможно, и должен оставаться отец, однако теперь ты должен позволить мне отдать свои чувства другому мужчине, который ослепил меня, как полуденное солнце.

Тонкие веки отца болезненно задрожали. У него появился тик на прозрачной синей коже под глазом и во впадине на виске. Его взгляд, когда он оторвался от газеты, стал почти столь же тяжелым, как и бледный, выпуклый лоб. По сравнению с Тристаном отец казался бесформенным: кожа его была тонкой и бесцветной, как бы недоразвитой, серо-голубые глаза — бледными и водянистыми, череп его, вместо непроницаемой шапки упругих блестящих колечек, покрывали длинные редкие пряди, сквозь которые просвечивала детская кожа, а его квадратное, лишенное шеи туловище годилось

только для того, чтобы размещаться в кресле. Однако говорил он с устрашающей четкостью и силой, словно все его мужество ушло в голос.

— Ты помнишь, — спросил он ее, — нашу поездку в «Отон Палас» и ту даму, которая нас сопровождала?

— Она пыталась быть мне матерью, — вспомнила Изабель, — а меня это возмущало. Она была неискренна.

— Я тоже тогда почувствовал в ней фальшь, и это помогло мне закончить наш роман. Женщине можно простить все, кроме неловкости, — она остается в памяти навсегда.

Его речь показалась Изабель безвкусной и пресной по сравнению с лексиконом Тристана или дяди Донашиану. Отец владел столькими наречиями, что мозг его, казалось, постоянно переводил с одного языка на другой, — у его собственного языка не было родины.

— Та женщина стала для меня откровением, — продолжил он. — Четыре года прошло после смерти твоей дорогой матери; за исключением периодических визитов в публичные дома — только ради потребностей физиологии, — я соблюдал целомудрие: сначала из приличия, соблюдая траур, а затем уже по привычке. Эулалия — так ее звали, если помнишь, — сделала меня таким, каким я никогда не был с твоей матерью, несмотря на все мамины достоинства, — я стал чувственным. Впервые в жизни я понял, что старая церковь была права, а протестанты и платоники — нет: мы — это наша плоть, и воскресение из мертвых — наше единственное спасение. Эулалия воскресила меня. Она создала меня — так же как, судя по твоим ощущениям, этот парень создал тебя. Печальная истина состоит в том, что он использовал тебя, твою сексуальную невинность, буржуазную скуку, юношеский идеализм, бразильскую романтичность. Точно так же Эулалия использовала меня: мое восприимчивое к лести мужество, привычку к сожителю с женщиной и зависимость от женщины, присущую слабеньким мальчишкам. Только когда я увидел, как она пытается соблазнить мою восьмилетнюю дочь, но переигрывает и ее попытка оканчивается провалом, я начал прозревать: Изабель, любовь — лишь сон, мечта, и это понимают все, кроме мечтателей. Любовь — это наркоз, под которым Природа извлекает из нас детей. А если, как в случае с твоей несказанно прекрасной матерью, эта операция оказывается смертельной — что тогда делает Природа? Она просто пожимает плечами и уходит. Природе нет до нас дела, моя милая, поэтому мы сами должны заботиться о себе. Ты не будешь тратить свою жизнь на черномазого мальчишку из трущоб. Ты больше никогда не увидишь Тристана. Ты останешься здесь, в столице, и будешь жить со мной. Ты будешь заниматься в университете в нескольких кварталах отсюда. Возвращаться домой ты будешь до полуночи. С тех пор как наше правительство было вынуждено закрыть университет в 1965 году и очистить преподавательский состав и учащихся обоих факультетов от нежелательных радикалов, программа университета, хотя и не Бог весть какая, но дает добротное надежное образование. Нигилизм и протесты сведены до минимума — это небо и земля по сравнению с подобными очагами анархии и измены в прибрежных городах. Там, возможно на одной из лекций, ты встретишь симпатичного генеральского сына.

— А если я откажусь? Если я сбегу?

Взгляд отца качнулся маятником, оглядывая тарелки и бокалы, так, будто это были шахматные фигуры, и он поставил ей мат.

— Тогда этот Тристан, которого мы теперь можем без труда обнаружить, исчезнет без следа. Как я понимаю, даже его собственная мать не станет беспокоить власти. В ней нет ничего материнского или, быть может, слишком много материнского. Ангел мой, все будет обставлено так, словно его существование приснилось только тебе одной и больше никому на свете.

Его улыбающиеся губы, и без того не столь яркие, как у дяди Донашиану — цвета проглядывающей сквозь редящие волосы кожи, — стали совсем белыми от сахарной пудры, когда он, скосив глаза на газету, откусил неожиданно большой кусок булки.

Два брата

Два года Изабель занималась в университете города Бразилиа, изучая историю искусств. Слайды с изображениями первобытных фресок и соборов, исторических полотен и импрессионистских пейзажей появлялись и исчезали в темноте лекционного зала. Все они были французскими. Искусство было французским, и лекторы картавили и гнусавили, произнося носовые звуки, словно возвращались на родину. Ах да, им показывали и камбоджийские ступы, немецкую резьбу по дереву и нью-йоркскую школу живописи, которые после 1945 года нужно было хоть как-то упомянуть, но все это в конце концов оказывалось либо бледным ответвлением основного течения, либо каким-то особо искренним проявлением дикости по сравнению с Шартром и Сезанном. Истинная культура, как учили Изабель, была удивительно локальным, чисто европейским и главным образом французским делом. Только биология имела глобальный характер, являясь суммой миллиардов совокуплений.

Если она и «встречалась» с кем-либо из своих друзей-студентов, консервативных и робких, но привлекательных и любящих сыновей олигархии и ее приспешников, что с того? Она была молода, полна энергии и пила противозачаточные таблетки. Можно оставаться верным в душе, особенно если в момент оргазма закрываешь глаза и говоришь про себя: «Тристан». Выдернутый из ее жизни, он превратился в неприкосновенную и нерушимую часть ее существа, столь же тайную, как и первые половые влечения ребенка.

Наблюдая за ее кажущимся смирением, отец убедился в успехе своей стратегии. Он появлялся и исчезал в огромной квартире, похожий на странного слизняка, и его тонкая голубоватая кожа, бледные улыбающиеся губы, лысеющая голова, тяжелые и добродушные глаза, похожие на глаза монахинь, которые учили Изабель и Эудошию в школе, только усиливали это впечатление. Он показал прошение, чтобы позволили провести полтора года дома, перед тем как он займет новый пост в Афганистане. По ночам Изабель слышала, как он занимался персидским и пушту: его голос становился глубоким и мелодичным, а иногда даже гортанным и настолько помусульмански страстным, что она представляла себе отца в пышной чалме и свободном халате, торгующимся с продавцом ковров или объявляющим смертный приговор богохульникам. Отец скромно объяснил ей, что оба эти наречия не очень сложны, поскольку относятся к разным ветвям индоевропейских языков. Время от времени он водил Изабель на концерт или в театр — единственные очаги скудной культурной жизни столицы. Иногда они не разговаривали друг с другом по несколько дней кряду, занимаясь каждый своими делами. Изабель шла по студенческому пути, словно в трансе подчиняясь обету, данному перед двумя пистолетами, которые

заменяли ей распятие. Я не стану причиной смерти Тристана, поклялась она себе и заперла его, как в темнице, в своем сердце, где ему ничто не угрожает.

Только во время приездов дяди Донашиану Тристану как бы удавалось бежать из тюрьмы, потому что вместе с дядей в Бразилиа с его безделушным схематизмом, фальшивым озером и столбами красной пыли, вздымающимися над обширными полосами жухлой травы, появлялся жизнерадостный океанический воздух Рио. Дядя приезжал в костюме кремового цвета, двухцветных штиблетах и панаме с красной лентой. Он привозил ей подарки, несоответствующие ее возрасту, — букетик хитро сплетенных искусственных цветов, фарфоровый игрушечный трехколесный велосипед с тяжелыми колесами, которые на самом деле вращались, или маленький цирк с артистами, выполненный из золотой проволоки и полудрагоценных камней с Минас Жераис. Дядя не хотел, чтобы в ней умерла девочка, и сам был воплощением по-детски игривой атмосферы Рио, где взрослые люди разгуливают по улицам в купальниках и тратят целый год на изготовление хрупкой карнавальной игрушки. Его мягкий голос, шутки и сигареты «Инглиш Овал» в мундштуке черного дерева и слоновой кости вызывали в памяти его квартиру с медными змеями люстры под потолком и матовой розой потолочного купола комнаты, где она впервые отдалась Тристану, и покрывало с бахромой, на котором девственная кровь оставила пятно в форме чаши. Дядя Донашиану в каком-то смысле был для нее символом любви; крутя на пальце кольцо с надписью «ДАР», Изабель спрашивала его про Марию.

— А, Мария, — говорил он. Под глазами у дяди появились желтоватые тени, а на лоб ниспадали поседевшие светлые пряди, придавая его лицу выражение величественной меланхолии. — Мария стареет.

— И становится менее желанной? — поддразнивала его Изабель, выпуская струйку дыма под низкий потолок отцовской квартиры. У Саломана были слабые легкие, и, щадя его, Изабель курила только в университете или во время посещений дяди Донашиану — уж слишком соблазнительными выглядели его английские сигареты пастельного цвета. Она забиралась с ногами на плетеную камышовую кушетку, привезенную отцом из поездки в Индию много лет назад; кушетка была не слишком удобной, несмотря на черно-багровые и розовые подушки.

— Может быть, — дерзко продолжала она, — ты слишком много от нее хочешь? Тебе следовало бы сделать ее честной женщиной в награду за столькие годы службы.

Донашиану устало моргал и проводил рукой по волосам, еще больше взъерошивая прическу. Он воспринимал Изабель как одну из тех взрослых женщин, чья любовь принимает форму шантажа.

— Тетя Луна по-прежнему остается моей женой, — отвечал дядя. — Когда ты начинаешь так дерзить, — добавлял он, — ты напоминаешь мне свою мать. Это разбивает мое сердце.

— Моя мать разбила твое сердце?

Изабель давно хотелось узнать, не был ли дядя влюблен в жену своего брата. На комод в его спальне рядом с обычными студийными портретами и фотографиями тети Луны, сделанными во время отпуска, стояла в рамке фотография Корделии — немного размытая, — на которой ее мать стояла на какой-то скале под одинокой сосной и

ветерок развеивал ее широкую юбку в сборках с рукавами «фонариками». Белый муслин подчеркивал красивый загар ее матери, ту толику мрака, которая и составляет истинно бразильскую красоту. Ее лицо, нечеткое, чуть улыбалось, цветущие щеки блестели, а веки были слегка прикрыты, словно она прятала глаза от ослепительного солнца. Изабель украдкой рассматривала фотографию в отсутствие дяди Донашиану, пытаясь догадаться, где в это время находился ее отец. Кто заставлял ее мать смеяться и игриво опускать глаза? Даже расплывчатость изображения, казалось, была вызвана дыханием ее матери, затуманившего объектив.

Однако старые тайны, старые романы увядают и в конце концов становятся столь же неинтересными для молодежи, как и фотографии старого Рио с троллейбусами на улицах и людьми в старомодной одежде, которыми увешаны стены ресторанов, сентиментально хранящих свое прошлое.

— Она разбила сердца всех, кому довелось видеть ее, — говорил дядя Донашиану. — Посмотри на своего отца. Он так и не женился снова, оставшись ходячей шкатулкой, хранящей память о твоей матери. Изабель, ни в коем случае не подражай ему в этой глупости, которая сделала его стариком раньше времени. Прими жизнь в свои объятия. Люби многих мужчин, перед тем как придется умереть. Это пляжное отродье — только начало. Отправляйся в Европу. Стань оперной певицей.

— У меня же нет голоса.

— У Каллас тоже нет. Но у нее есть «образ».

По доброте ли душевной или случайно, но он затронул запретную тему и упомянул ее любовника.

— Кстати, о пляжных отродьях, — лениво произнесла она. — Что слышно из Сан-Паулу? Не случилось ли чего-нибудь дурного с тем пареньком, которого я столь распутно пригласила в наш общий дом? Ах, как мне не хватает нашей квартиры, дядя. Бразилиа — это ад, только в аду, наверное, не так скучно. Этот город бросили на раскаленное плоскогорье, будто яйцо на сковородку.

Утонченное эгоистичное лицо дяди Донашиану, изборожденное морщинами после многолетней погони за наслаждениями, становилось торжественным.

— Дорогая моя, мне ничего не известно о Сан-Паулу. Там ад другого сорта; это чудовищно уродливая демонстрация наших тщетных попыток превратить Бразилию в промышленную державу, подобную стране бездушных хамов к северу от экватора. Наша земля, когда-то такая зеленая и очаровательная — настоящий рай, — становится беспредельно уродливой, Изабель. Я нисколько не сожалею о том, что мне недолго осталось наблюдать это.

Вытаскивая из мундштука окурки и вставляя в него новую сигарету, он по-чахоточному закашлялся; хотя дяде было едва за сорок, он и в самом деле выглядел слегка потрепанным; Изабель впервые заметила, что обшлага его кремовых брюк засалились, а на рукаве пиджака не хватает пуговицы. Начинало сказываться отсутствие жены. Изабель с любопытством наблюдала за братьями Леме. Рядом с дядей Донашиану ее отец выглядел еще более мелким и уродливым, похожим на безжалостного и бесцельно деловитого гнома. Тем не менее в братьях было много общего и они часто дружески шептались после обеда в библиотеке за рюмочкой бренди или высокими бокалами шоппа, пока Изабель листала альбом с репродукциями картин периода

катраченто, населенных застывшими мадоннами и сморщенными младенцами Иисусами с маленькими пиписьками — какими же нудными и черствыми были изучаемые ее дисциплины, насколько действительно «прошедшими» они казались по сравнению с тем, что чувствовала она, когда была с Тристаном; или слушала Шику Бюарка, который тайком протаскивал в своих лирических песнях намеки на революцию, направленную против военных правителей; или когда смотрела по телевизору мыльные оперы, в которых актеры и актрисы играли ее сверстников. Это было настоящее время, взбудораженное будущим, смутным временем беспредельных возможностей. Она с любопытством наблюдала за дядей и отцом, спрашивая себя, могли ли они когда-нибудь заставить женщину испытать то же, что довелось ей испытать с Тристаном. Это казалось невозможным, и все же случались мгновения, когда двое мужчин вдруг разражались хохотом, и это тайное веселье, доступное только им одним, трещиной уходило в прошлое, в глубины их общего детства, и тогда она осознавала мужские качества братьев, их совместный почтенный заговор.

Однажды вечером, когда дядя, завершив очередной визит, улетел в Рио, ее отец, тоже собиравшийся в Боготу на четырехдневную конференцию по экономике, пригласил Изабель в кабинет. Немного смущаясь, он предложил ей на выбор бренди, белое вино, сок или таб. — А кашасы нет? — спросила она, вспомнив хижину Урсулы, наполненную сладковатой вонью перебродившего сахарного тростника и острым запахом женщины.

Отец позволил себе высокомерно содрогнуться.

— Тогда бренди.

Он неохотно налил ей французского эликсира. Когда горлышко коньячной бутылки прекратило свои булькающие речи, он прочистил собственное горло и сказал:

— Изабель, отцовский долг обязывает меня затронуть щекотливую тему.

Все осветительные приборы в кабинете были установлены низко, чтобы удобно было читать, и в колеблющихся тенях большой лоб отца больше нависал вперед.

— Это касается моего брата. Я не мог не заметить, что между вами существует чрезвычайная привязанность и близость.

Изабель поморщилась — коньяк оказался терпким — и заметила:

— С тех пор как умерла мама, а ты утопил свою печаль в трудах и путешествиях, дядя занял твое место.

— Да, это правда. Я сожалею о том, что так получилось, и теперь мне остается лишь запоздало просить у тебя прощения. Что я могу сказать в свое оправдание? Разве лишь то, что твое присутствие причиняло мне боль, напоминая о твоей матери и о моей страсти к продолжению рода, которая привела к ее трагической гибели.

Изабель пожала плечами:

— Я уверена, отец, что ты поступил наилучшим образом. У подобной ситуации есть свои психологические преимущества. Ведь я не могла разочароваться в тебе. Каждый твой мимолетный визит в Рио, каждая неделя каникул, которую мы проводили вместе в Петрополисе, Патагонии или на Майами-Бич, были для меня разновидностью волшебства, будь ты более доступен, волшебство это скоро бы поизносилось. Детям нужно чувствовать себя привязанными, но им

важно, к кому они ее испытывают. Тетя Луна относилась ко мне по-дружески, когда ее не отвлекала светская жизнь или не доводила до безумия очередная суровая диета, а кроме нее, всегда находились горничные, кухарки, монахини в школе, и все они готовы были приласкать меня, улыбнуться, сказать доброе слово. Я чувствовала, что все видят во мне драгоценного и любимого ребенка. Где-то на заднем плане, подобно мощной крепостной стене, всегда стояла твоя, папа, высокая репутация.

Отец снова позволил себе передернуть плечами. Когда он опускал веки, кожа под его глазами, пронизанная тонкой сеткой вен, дергалась, как дыхательная мембрана лягушки.

— Судя по твоим словам, детство у тебя было печальным.

— Печальное детство, — продолжила она, — пробуждает в нас желание поскорее стать взрослыми.

— Мой брат... — снова заговорил отец, но тут же осекся. —

Скажи мне откровенно, хоть я и не завоевал твоего доверия. Не злоупотреблял ли мой брат когда-либо той близостью, которая возникла между вами из-за смерти твоей матери и моего честолюбия? Я хочу спросить, не пытался ли он, — отец снова заколебался, и лицо его смутно затрепетало в тени, — перешагнуть границы чисто родственных отношений... в физическом плане?

Он задел последние остатки невинности в ее душе.

Сама мысль об этом требовала столь серьезных изменений во взглядах на ее воспитание и половое созревание, что вызвала у Изабель тошноту. Она покраснела, и розовая дымка заволокла детали ее детства, оставив перед мысленным взором только квартиру в Рио, вид из ее окон на другие жилые дома и искрящуюся полоску океана вдаль. Она так давно не виделась с теми, кто жил вместе с нею в этой квартире.

— Он обнимал меня, как и подобает дяде, — вспоминала она, с трудом переводя дыхание, — и объятия его становились постепенно все более церемонными и осторожными, по мере моего... взросления. Временами он заходил ко мне в комнату, чтобы поцеловать на ночь, хотя больше не приносил с собой книжки про Бабара и Тентена, чтобы почитать мне вслух, как раньше, когда я была ребенком, — он читал их так выразительно и живо! Дядя просто усаживался на стул рядом с моей кроватью и молча сидел. Он выглядел усталым, и иногда я чувствовала, что, какой бы маленькой девочкой ни была, даю ему нечто такое, чего не могла ему дать тетя Луна, хотя я и ничего не делала. Потом они разошлись, и дядя стал исчезать из дома, иногда даже на несколько ночей, а меня отправили в школу к монахиням, и мы стали встречаться реже, да и чувствовали себя не так спокойно, как раньше. Да, я любила его, а он — меня, но, по-моему, ты, отец, недооцениваешь кровь Леме, если можешь себе представить, будто твой брат способен перейти границы дозволенного. С абсолютной честностью он выполнял по отношению ко мне обязанности опекуна, навязанные, между прочим, твоими честолюбием и расстроенными чувствами.

И все же, произнося речь в защиту своего дяди и навсегда закрывая эту тему, Изабель почувствовала трепет, вспоминая детство, какие-то прикосновения, щекотку или волнение, которые память не разрешала ей вспомнить пережитое. Как страшно, подумала она, что человек не может просто расти и расширять свой опыт, а непременно должен утрачивать себя прежнего. Мы движемся во мрак, и мрак

смыкается за нашей спиной.

В искаженном свете лицо ее отца словно растаяло от печали, став еще более бесформенным и скользким, когда он взглянул на свою дочь серо-голубыми глазами. Изабель не могла знать, что он думал о некоей рапариге[8], о чернокожей девушке, которая занималась сексом за деньги и любила кашасу, о девушке с маленькой овальной головкой и стройным бесстыдным телом, которой он болел хронически в веселые времена Рио до своей женитьбы. Когда она забеременела, было невозможно установить, кто из множества мужчин стал отцом ее ребенка. Перед родами она исчезла из его жизни, и теперь он смотрел на Изабель и спрашивал себя, нет ли где-нибудь в Бразилии брата его дочери с такими же серыми глазами, в жилах которого бесцельно течет гордая кровь Леме.

Завод

Тем временем Тристан, благодаря дипломатическому давлению сверху, получил работу на автомобильном заводе, где производились «фольксвагены»-«жуки». Маленькие автомобильчики красили в разные оттенки коричневого цвета, из-за чего в Бразилии их называли «жуками», а изготавливались они в гигантском ангаре, чьи северные ворота, как огромная пасть, пожирала комплектующие, а южные, словно неумолимое заднепроходное отверстие, испражнялись готовыми автомобилями. Внутри ангара, под громадным стальным небосводом, поддерживаемым поперечными и продольными балками, по которым проходили рельсы транспортных кранов для перемещения тяжелых деталей вроде двигателей и рам, стоял такой грохот, что Тристан боялся полностью потерять вкус к музыке форро и даже способность радоваться жизни вообще. Машины и людей превращали в машины.

Первая работа, на которую его поставили, состояла в том, чтобы подбирать с пола упавшие болты, пенопластовые контейнеры для еды, металлическую стружку и подтирать пролитое масло — это липкое выделение промышленного зверя. Затем его повысили, и он стал завинчивать правосторонние болты: сначала болты креплений подшипников задних тормозных дисков (шестнадцатимиллиметровые болты, затягивать с усилием 21,5 кг/см). Затем, в начале второго года работы, его перевели на болты креплений двигателя, которые были семнадцатимиллиметровыми, но затягивались с усилием только 11 кг/см. Силы требовалось меньше, и это уменьшило боли в шее и под правой лопаткой. Вечерами, когда Тристан укладывался спать, ему казалось, будто кто-то тычет туда шилом. Постепенно мышцы его окрепли, и боль прошла. Он с изумлением разглядывал свои руки, на которых бугрились твердые мускулы и ладони с широкой мозолистой полосой от гаечного ключа.

На второй год его напарником стал Оскар — добродушный левша кафуз[9] из Мараньяна. Они работали дни напролет, дружно закручивая и затягивая шесть болтов (четыре основных и два вспомогательных), что крепили бравый маленький двигатель «жука» к шасси, и скуластая плоская физиономия Оскара, в которой африканские гены, прибывшие в Америку на корабле работоторговцев, соединились с генами азиатскими, на своих двоих пришедшими в знойную Амазонию из Сибири, стала Тристану привычнее его собственного лица. Когда он глядел в мутное зеркало над умывальником, то лицо казалось ему миражом, ошибкой: оно было слишком черным, слишком высоколобым, слишком толстогубым, и взгляд его глаз был каким-то

чересчур напряженным. У Оскара между передними резцами виднелся довольно большой просвет, и Тристану (настолько он привык к озорной дружеской улыбке Оскара) чудилось, будто его собственные передние зубы до боли тесно жмутся друг к другу.

Иногда от скуки они крепили двигатель вверх ногами, и если рабочие дальше по конвейеру тоже участвовали в их проделке и присоединяли необходимые провода и шланги, то крепкий маленький автомобильчик умудрялся выехать из южных ворот и провезти своего водителя несколько сот метров до заводской стоянки, откуда машины отправлялись заказчикам. Оскар объяснял это тем, что у «фольксвагена» большое сердце. Его изобрел знаменитый колдун по имени Гитлер, чтобы отвезти массы немецкого народа в Валгаллу. Если бы шутку обнаружили, то и Тристана, и Оскара могли уволить за саботаж и даже посадить в тюрьму. Во время правления военных гражданский язык окрасился в милитаристские тона. Тристан с радостью избавился бы от работы на фабрике, но он боялся тюрьмы, так как она еще больше отдала бы его от Изабель. Он еще не отказался от своей мечты о любви. Правда, нельзя сказать, что он вел целомудренный образ жизни: дети Шикини дружили с соседскими ребятами, у которых были более чем сговорчивые старшие сестры, и даже на заводе, несмотря на строгости военного времени, введенные по сговору с профсоюзами, можно было завязать знакомство, во время перерывов на обед или посещения туалета. Тем не менее в душе он хранил целомудрие и со слезами молил о возвращении своей утраченной цельности.

Поначалу Виргилию, бандит помоложе, плотно опекал Тристана, встречая его у ворот фабрики после работы и не отлучался от него ни на минуту, что бы тот ни делал, а потом ложился спать в той же комнате, загородив своей койкой дверь. Однако оставаясь не у дел в течение долгих рабочих дней Тристана, Виргилию успел связаться с «Тирадентес», футбольной командой из Мооки. Иногда тренировки затягивались допоздна, игры на чужих полях заставляли его отсутствовать до глубокой ночи, а временами и по несколько дней. Шикини, Полидора и Тристан пришли к выводу, что он либо связался с женщиной, потому что множество девчонок бесстыдно жаждали связаться с футбольной звездой, даже если у звезды не было кобуры под мышкой, либо же Большие Парни поручали ему какое-нибудь срочное задание.

Однако Шикини предупредил Тристана:

— Не думай, брат, что ты можешь бежать, отдавшись своему романтическому безумию, только потому, что Виргилию нет рядом. Большие Парни знают, где я живу, и если ты сбежишь, они отомстят мне и моей ни в чем не повинной семье. Маленьким Эсперансу или Пашеку могут перерезать горло. Полидору могут похитить и отдать на растерзание бандитам. Я уж не говорю о себе. Я взываю к твоим чувствам дяди и брата.

— А где были твои братские чувства, когда ты отдавал меня в руки моих врагов?

Бледно-коричневые руки Шикини неуклюже взметнулись в воздух.

— Враг твоих ошибок — мой друг. Я поступил так по просьбе нашей благословенной матушки, чтобы спасти тебя от сексуального безумия.

Тристан рассмеялся в ответ на столь нелепую ложь.

— Изабель приглянулась матери.

— Это не так. Она презирает ее как представительницу класса угнетателей, которая к тому же проявила к ней снисхождение. Это она приглянулась Изабель по причине извращенности психики высших слоев. Я наблюдал за ней, пока она была здесь: она вела себя бесстрашно, как ведут себя только непостижимо богатые люди. Реакционеры, по крайней мере, уважают бедняков настолько, чтобы бояться их. Она наверняка уже забыла о тебе. Забудь и ты об этой легкомысленной блондинке. Разве мы с Полидорой не кормили тебя изо дня в день? Разве не стал ты богаче, чем два года назад, до того, как приехал к нам? Разве нет у тебя профессии, за которую можно получать деньги и класть их в банк? А ведь наша экономика переживает невиданный рост — более десяти процентов в год! Тристан изумился тому, насколько серьезно его брат, такой же сын черной женщины, как и он, воспроизводит болтовню белых. Люди продают себя в рабство за крохи, и не только за крохи — за одни только слухи о них. Хотя Тристан и позволил брату обнять себя в знак примирения, он решил бежать.

Он отправился в банк и снял со счета свои крузейру — их хватило бы на несколько недель, если жить скромно и путешествовать на самом дешевом транспорте. Однажды ночью, когда Виргилиу отправился в Эспирита-Санта играть в каких-то межрегиональных соревнованиях, Тристан дождался, пока затихли крики детей, не хотевших укладываться спать, а шепот Шикиниу и Полидоры, обсуждавших события дня — соседские сплетни, трудности, с которыми Шикиниу сталкивался на должности бригадира уборщиков, — сменился ритмичным дыханием и храпом. После провонявшего кашасой дома своей матери Тристану было интересно наблюдать за жизнью супружеской пары, стремящейся войти в средний класс. Ему казалось, что Шикиниу и Полидора на корточках пробираются по узкому и низкому коридору с облупившейся краской и потеками на стенах и стоит им только сделать попытку выпрямиться, больно бьются головами о нависающие своды и никак не могут добраться до просторной комнаты с высокими потолками и широкими окнами, откуда открывается вид на весь мир. Так боязливо, на полусогнутых, они движутся вперед в свете мигающих грязных лампочек, а тем временем кости их становятся хрупкими, кожа увядает, а волосы выпадают. Как только Тристан соединится с Изабель, он навсегда будет избавлен от подобной участи живого мертвеца. Изабель — его вечная жизнь.

Стена в изголовье вибрировала от их сонного дыхания. Вокруг маленького домика было тихо, если не считать кошачьих воплей и гудения незаконно установленных трансформаторов. Осторожно ступая босыми ногами по кафельному полу, Тристан, оставаясь в старых шортах и футболке с надписью «Одинокая звезда», которую теперь носил вместо пижамы, упаковал большую часть своего гардероба и немногие личные вещи в новый рюкзак из блестящего оранжевого полотна — он купил его тайком и прятал под кроватью. Тристан задумал спрятать рюкзак под низкорослой пальмой на углу участка Шикиниу. Оранжевые плоды пальмы и широкие нижние листья делали ее идеальным сообщником. Рано утром он отправится на фабрику, пока дети, как акулята, начнут выпрашивать завтрак у Полидоры, а Шикиниу будет принимать обязательный утренний душ, поскольку даже частичка человеческой перхоти может устроить хаос в

микросхемах компьютера. Тристан незаметно вытащит рюкзак из-под пальмы, закинет его за спину и отправится в столицу. Деньги, снятые со счета, он увязал в узелок и сунул в рюкзак. Теперь, глубокой ночью, он вышел на улицу, чтобы объемистый рюкзак спрятать под пальму. Однако брат не спал, и не успел Тристан закрыть за собой алюминиевую дверь с вафельным узором, имитирующим тростниковое плетение, как серая тень Шикиниу в одних шортах оказалась рядом с ним на бетонном крыльце. Он вышел из дома через черный ход и схватил Тристана за руку, вцепившись в нее подобно металлическим захватам, что поднимают крупные детали на автомобильном заводе.

— Ты не можешь уйти.

— Почему?

— Нам с Полидорой нужны те деньги, которые за тебя платят.

Твой уход опозорит нас.

— Ты уже опозорил себя, взяв деньги у тюремщиков родного брата.

— А от кого еще в Бразилии можно получить деньги, если не от бандитов? Ты перешел им дорогу, и они убьют тебя, если ты сделаешь это вторично.

— Умереть — не самый худший поступок для мужчины. Гораздо хуже жить побежденным. Для меня жизнь без Изабель — это не жизнь.

— Она успела забыть тебя.

— Если это так, я стану мудрее, узнав об этом.

— Большие Парни будут винить меня. Они отомстят моей семье.

— Об этом мы уже говорили.

Их голоса звучали горячо, но тише резких воплей котов. Чтобы не побеспокоить сон семейства, братья отошли от дома подальше — в маленький дворик, усеянный дешевыми пластмассовыми игрушками Эсперансы и Пашеку, где сквозь утопанную красную землю пробивались редкие травинки. Шикиниу цепко держал Тристана за руку. Тристан попробовал стряхнуть руку брата, но пока он пытался сделать это мягко.

— Скажи им, что не мог помешать мне, — сказал он брату. — Это будет правдой. Удержат меня здесь — не твоя забота. Это обязанность Виргилию.

— Правда никогда не помогает таким, как мы. В Бразилии людей за то, что они говорят правду, убивают.

Лицо Шикиниу, оказавшееся слишком близко к глазам Тристана, чтобы разговаривать шепотом, в свете уличного фонаря приобрело цвет вороненого металла — его словно привинтили к шесту фанатичного эгоизма. Однако какое отношение к Тристану и Изабель имели высокие слова о «таких, как мы»? Какое отношение они имели к ее белоснежной красоте, что струйкой масла скользила по темной комнате, к губам, которые жадно искали страждущий початок? Он дернул сильнее, стараясь освободить руку. Тихо кряхтя, братья начали бороться посреди маленького дворика с колючей травой на пустой, залитой голубым светом фонаря улице. Рюкзак мешал Тристану, а панический страх потерять деньги придавал Шикиниу демоническую силу. Однако руки Тристана окрепли после двух лет ритмичного заворачивания болтов, которое продолжалось для него даже во сне, он напрягся и стал выворачивать свободной рукой слабую кисть брата до тех пор, пока Шикиниу не всхлипнул и не отступил на шаг. Однако при этом он продолжал стоять в боевой стойке, вытянув вперед руки, как

приготовившийся к обороне краб, и уже собирался снова броситься на брата, но у того в руке вдруг появилось лезвие бритвы. Ночью он держал лезвие в шортах на тот случай, если Виргилию вернется с футбола пьяным и в драчливом настроении, как уже случалось пару раз, когда его команда проигрывала. В мгновение тонкие ловкие пальцы выудили бритву из кармана. Лезвие превратило его в грозное существо, размахивающее единственным щупальцем.

— Осторожно, — предостерегающе сказал он, медленно поводя своим щупальцем в свете фонаря, чтобы брат разглядел блестящее лезвие. Он почувствовал, как, словно по волшебству, все внимание брата сосредоточилось на безжалостном остром лезвии, которое так же, как два года назад вороненые стволы наемных убийц, изменило перспективу, будто перерисовав ее.

Выскользнув из лямок, Тристан сбросил рюкзак на землю. Пока глаза Шикиниу следили за блестящим, покачивающимся лезвием, другая рука Тристана схватила брата за тощую шею, и голова его замерла. Тристан поднес бритву к щеке своего брата. Движения Тристана стали напряженными и точными. Он рассек кончиком бритвы кожу, проведя лезвием по бледной щеке до уголка рта. Из разреза длиной около пяти сантиметров тут же брызнула струйка красной жидкости. Пересохшее горло Шикиниу издало какой-то скрипящий звук. Он задергал кадыком, пытаясь освободиться от пальцев Тристана. Тот перенес бритву, собираясь изуродовать брату другую щеку, но увидел в глазах Шикиниу тусклый блеск смирения.

— Покажешь шрам Большим Парням, чтобы доказать, что ты боролся со мной, — предложил ему Тристан. — Видишь, я воздал тебе сполна за ту доброту, которую ты так долго оказывал мне.

Автобусная станция

Так Тристан совершил свой побег: босиком, в шортах и старой футболке с едва различимой рекламой ресторана в Леблоне. Он понял, что нужно воспользоваться замешательством брата после их кровавого столкновения и уйти поскорее, не возвращаясь в комнату за одеждой, в которой он планировал уйти на работу, — теми самыми брюками и шелковой рубашкой, что были куплены ему Изабель во время медового месяца. Шикиниу может очухаться, поднять крик и задержать его. Лучше забыть об одежде и убежать прочь, стараясь не порезать пятки о битое стекло.

Он мчался, считал перекрестки, и только после десятого, запыхавшись, позволил себе перейти на шаг. Пот струился по спине. Завтра уже наступило. Автобусы ходить перестали. Тротуары сдирали кожу его ступней, которые стали мягкими после двух лет ношения обуви. Да и бетон Сан-Паулу — совсем не то что песок пляжей Рио. Он отправился из Мооки на север и попал в районы, населенные средним классом, где подозрительные взгляды квартальных заставляли его ускорять шаг, даже если те ничего не говорили ему вслед. Яркое зарево на западе показывало направление к центру города. По высокому пешеходному мосту, перекинутому через овраг Риу-Аньянгабаху, двигаясь в направлении Авенида-ду-Эстаду, Тристан прошел над зеленым парком Дона Педру Второго, и кроны деревьев внизу казались застывшими и словно обитые воском. Пересекая район Се, он увидел, что здесь жизнь еще продолжается: из ночных клубов и баров доносилась монотонная пульсирующая музыка.

Чем дальше он удалялся на север, по направлению к Эстасан-да-Лус, тем больше девушек в высоких белых сапогах и очень коротких

шортах стояло на улицах и болтало с мужчинами, чьи глаза бегали туда-сюда, выискивая трещину в стене жизни, из которой может появиться цветок удачи. Одна из рапариг в белых сапогах, с кожей цвета полированного кедра, подошла к Тристану, хотя он и должен был казаться бедным, и в бесстыдстве ее было столько силы и озорства, что его бедный початок дернулся в шортах при виде ее груди, обнаженной до самых темных кружков гусиной кожи вокруг сосков. Обычно в этот час его мучил привычный кошмар: болты не желают поворачиваться, а сквозь щели, словно в осколках зеркала, ухмыляется лицо Оскара.

— Я вижу, что нравлюсь тебе, — сказала девушка. — Меня зовут Одетта.

— Ты мне нравишься, но сердце мое принадлежит другой, той, которую я собираюсь спасти от Больших Парней.

— Если она тоже любит тебя, то не станет сердиться из-за каких-то десяти крузейро, которые ты потратишь на меня.

Примерно столько же стоит маленький пирожок с креветками, который он с удовольствием съел бы.

— А куда мы отправимся? — спросил он.

— В одном квартале отсюда есть очень опрятная гостиница, где меня знают и где с рабочего человека запросят совсем немного.

Эта девчонка почувствовала в нем что-то помимо босых ног и рваной футболки. В гостинице она заявила, что он великоват для ее рта, так что ему придется трахаться, и стоять это будет еще десять крузейру плюс цена презерватива. Из пуританских побуждений Тристан отказался было от презерватива, но Одетта сказала, что он нужен ему, а не ей, поскольку дурные девчонки вроде нее недолго живут на свете. Болезней вокруг много, ночная работа и связанные с ней стрессы приводят к наркомании, а еще есть больные люди, которые убивают проститутку ради забавы.

— Так зачем же ты... — начал было он.

— Зачем я так живу? — Когда она улыбалась, губы ее расходились, как кожура перезрелого плода, открывая семечки зубов. — Лучше прожить короткую жизнь, чем никакую. Даже самая длинная жизнь покажется короткой на смертном одре.

— Моя мать — шлюха. — Тристан почувствовал необходимость сказать ей об этом.

Выщипанные брови Одетты удивленно взлетели над широко распахнутыми глазами цвета корицы.

— И ты ненавидишь ее за это?

С этой девушкой говорить было легче, чем с Изабель, — они ведь не клялись друг другу в любви.

— Мне все равно, — признался он. — Вот чему она меня научила: быть к ней равнодушным.

— Ах нет, нельзя быть равнодушным к собственной матери, — сказала Одетта. — Ты обманываешь себя, говоря, что ничего не испытываешь к ней.

Он хотел описать ей, как Изабель попыталась изобразить любовь к его матери, хотя любить ее невозможно, но объяснить это было бы слишком сложно. Да и сами слова его прозвучали бы нагло и грязно. Тристану стало немного скучно, хотя они еще и не трахались. Все девчонки, что появлялись в его жизни и хотели переспать с ним, напоминали ему о том, насколько хрупка и случайна была та совершенная любовь, которая объединяла их с Изабель. Любовь была повсюду, он видел это, но она не могла решить никаких проблем.

Напротив, она только усугубляла их. Мужчины, что разгуливали по улицам Сан-Паулу и восторженно занимались бизнесом, никогда не трахались в три часа ночи. У Тристана затрепетало сердце, когда он понял, как хватко его жизнь цеплялась в этом мире за все, кроме непрерывного разложения, начинающегося рождением и кончающегося смертью. Он сам цеплялся за образ Изабель, единственную сверкающую нить во мраке будущего.

Тем не менее он трахнулся с Одеттой, причем сначала она стояла по собственному почину на четвереньках, и бедра ее возвышались двумя полированными арками из кедра, а потом уж сама оседлала его, пока он возлежал на горе подушек у выщербленного изголовья кровати, засаленного множеством грязных голов; губы Тристана касались левого соска в кружочке гусиной кожи всякий раз, когда груди Одетты оказывались у его лица, а сама она поднималась и опускалась, как цилиндр, на его поршне. Тристан долго не мог кончить, стиснутый липким презервативом; когда же это произошло и он начал извиваться и стонать, она улыбнулась с профессиональным удовлетворением, поднялась с его опадающего члена, и послышался легкий чмокающий звук.

В отличие от Изабель, Одетта была коренастой: ноги толсты, а живот через несколько лет будет болтаться, как провисший гамак. Ее довольная улыбка сменилась деловитым выражением лица: если она сможет поскорее выбраться на Авенида-Каспер-Либери, до рассвета успеет заполучить еще одного клиента.

— Не скажешь ли ты, перед тем как мы расстанемся, где можно купить ботинки в этот час? — спросил он, вручая ей деньги. — Как видишь, я могу себе позволить обувь — просто мне пришлось слишком поспешно съехать с квартиры. Ботинки и маленький пирожок с креветками: приближается время моего завтрака.

Почему теперь, когда они оделись, Тристан вдруг почувствовал смущение перед этой коренастой шлюхой? Он понял, что ей в жизни нужно меньше иллюзий, чем ему. В этом грязном мире она чувствует себя как рыба в воде, а ему приходится тащить на себе узловатый и корявый груз смысла жизни и высшего предназначения.

— Что касается пирожка с креветками, то я покажу тебе маленькую лавочку недалеко от Жардим-да-Лус, а вот с ботинками придется подождать до утра. Я тебе по-прежнему нравлюсь? Как ты думаешь, твоя любимая будет возмущаться тем, что ты трахнулся со мной и поиграл с моими сиськами?

— Она поймет разницу, — задумчиво ответил Тристан. — Она реалистка, как и ты.

Когда Тристан и Одетта расстались навсегда и он нашел ярко освещенный треугольный магазинчик, у сонного продавца не нашлось пирожков с креветками. У него были другие пирожки, с курятиной, к тому же черствые. Затем Тристан потащился с рюкзаком на север через район Бон-Ретиру, где над магазинами с опущенными ставнями висели надписи из совершенно непонятных букв, похожих на язычки пламени, — к автобусной станции напротив вокзала Сорокабана. В предрассветной мгле ее вывеска горела над воротами зыбким электрическим светом. Внутри станции сотни людей спали на полу рядом со своими узлами, клетками с попугаями и свиньями с завязанными клетчатými тряпками рылами. Автобусная станция походила на любопытную кабанью морду, уткнувшуюся в край большого города, от нее пахло страной, простирающейся за пределами

города-гиганта. Душные влажные испарения от спящих людей тяжело поднимались над полом. На спинках штампованных пластмассовых стульев сидели куры, клевали носом пьяницы, словно исполняя головами какой-то дерганый танец. Бродяги заполнили все укромные уголки под лестницами и за стойками автоматических камер хранения: то, что на первый взгляд казалось кучей мусора в углу, на поверку оказывалось людьми, свернувшимися под картонными коробками и пластиковыми мешками, чтобы укрыться от слепящего света мерцающих ламп. Теперь, когда утренний свет стал проникать в здание вокзала, петухи в клетках начали кукарекать, и проснувшиеся детишки в лохмотьях, едва дохнув до торчащих пупков на круглых животиках, топали по автобусной станции в поисках места, где можно сделать пипи, и растерянно моргали, как бы задаваясь вопросом: зачем мы появились на свет?

Наконец в лабиринте залов Тристан нашел, где продавались билеты на Бразилиа! Касса открывалась только через два часа, а очередь уже выстроилась порядочная. В этой очереди коммивояжеры в мятых костюмах и студенты в сандалиях и свитерах в стиле Че Гевара, с длинными волосами, завязанными в хвосты, соседствовали с бедными кабоклу и сертанейжу[10] из глубинки, облаченных в нечто похожее на заскорузлую от желтой пыли пижаму, — Сан-Паулу притягивал их, как труп быка влечет голодных собак. Однако даже они поглядывали свысока на босого черного паренька в старых шортах, а некоторые и вовсе пытались пролезть в очередь впереди него, пока Тристан не показал свой боевой дух, бросив несколько крепких слов. Он сунул билет на Бразилиа в карман с лезвием бритвы и отыскал на другом этаже здания только что открывшийся спортивный магазин, где купил за цену втрое больше той, которую он заплатил Одетте, пару белых теннисных туфель. Они торчали на его стройных ногах, как неуклюжие сверкающие лодки, но ходить в них было на удивление удобно, и подошва у них была пружинистая. Автобус шел до столицы пятнадцать часов, и ему пришлось стоять в проходе до самого Белу-Оризонты.

Кафе-мороженое

Изабель и ее друзья часто проводили вечера в кафе-мороженом «Сорветерия Жаниу Квадрос», названном в честь давно усопшего президента. Одни президенты Бразилии второпях бросали свой пост, другие стрелялись, показывая всем, как они любят свою страну. Третьих смещали военные, дабы утешить Соединенные Штаты, и только Кубичек продержался на своем посту полный срок, оставив по себе память в виде столицы Бразилиа и инфляции. На стенах кафе висели плакаты с портретами Бриджит Бордо и Фиделя Кастро, а в высоких кабинках, где помещались четверо, а если потесниться, то шесть или семь человек, можно было поговорить, как на конспиративной квартирке. Голубой дым сигарет — курили здесь чаще всего «Континенталь», «Голливуд» и «Людовик XV» — так же густо наполнял воздух, как и испарения спящих и вонь мочи на автобусной станции, по которой Тристан ходил восемнадцать часов назад. Мраморный прилавок перед входом сверкал хромированными ручками, краниками и прозрачными шлангами аппаратов для изготовления газировки, коктейлей и кофе, густого и горького, каким его пьют бразильцы.

— Сартр — одноглазый клоун и педофил, — вещал тем вечером Сильвио, один из университетских друзей Изабель. — Но Кон-Бендит

скинет Де Голля, как Джерри Рубин скинул Джонсона, а Дубчек победит Брежнева.

За границами Бразилии земной шар кипел, казалось, что молодежь вот-вот возьмет власть в свои руки и кружок, куда входила Изабель, целиком состоящий из дочерей и сыновей элиты, был возбужден, подобно футбольным болельщикам на трибунах, когда одна из команд начинает брать верх. Сильвио, отец которого был крупным фазендейру в Баийи, демонстрируя свой радикализм, сменил дорогие сигареты «Министр» на «Мистура Фина», едкое курево рабочего класса.

— Брежнев не позволит социализму обрести человеческое лицо, — возражал с противоположного конца задымленной кабинки Нестор Виллар. Худой и аскетичный, он был сыном полковника и называл себя анархистом, давно преодолевшим глупые иллюзии левых. — Как только социализм приобретет человеческое лицо, он исчезнет — бах, и нет его! Диктатура пролетариата не может себе позволить человека в роли субъекта — ей нужны монстры в верхах и роботы внизу. — Когда он говорил, в уголках его рта появлялись отвратительные белые пузырьки слюны. Очень давно Изабель несколько раз спала с Нестором, но его член с траурно-синими прожилками и пугающе розовой мошонкой был слишком тонок, и каждый раз ей приходилось попотеть, чтобы он наконец встал. Она порвала с ним якобы из-за различий в политических взглядах. Он впитал гораздо больше фашистских убеждений своего отца, чем сам осознавал, а его так называемая анархия недалеко ушла от милитаристского гнета. Анархия, заявила ему Изабель, только разрушает слабые ограничения эксплуатации и грабежа, которые существуют в обществе: если на земле и есть хоть одна страна, которая не нуждается в анархии, так это анархичная Бразилия, чей национальный флаг с такой неподражаемой тоской пытается изобразить порядок и прогресс на фоне южного неба.

— В Соединенных Штатах, — продолжал Сильвио, изучая лицо Изабель сквозь густой дым и пары кофе, витавшие в воздухе наряду с кисловатым запахом мороженого, тающего в тяжелых стеклянных каравеллах, — черные разнесли Вашингтон по камешку после убийства Мартина Лютера Кинга. В Чикаго и Балтиморе было то же самое. Лилейно-белым империалистам с севера скоро придет конец. Он знал, что ей нравится слышать хорошее о неграх. Она еще не спала с ним, но переговоры об этом уже начались. Во время ночной антиимпериалистической демонстрации при свете факелов он оказывался рядом с ней, и его рука искала ее свободную ладонь, пока другая ее рука несла гневный плакат или свечу протеста. В теплой толчее, когда косяк ходил по кругу и в расслабленном мозгу Изабель звучали боса-нова Элис Режина или тропические ритмы Жилберто Жилы, а откуда-то издали доносились импровизации Колтрейна, когда журчало протяжное испанское пенье Джоан Баэз, губы Сильвио прижимались к устам Изабель, а его рука шарилась в складках ее одежды. У него были сальные кудрявые волосы до плеч, и ростом он был ниже ее, но это не помешало бы Изабель переспать с ним: просто для этого еще не наступило время, да ей и не хотелось, чтобы это время наступило. Пока она не спала с Сильвио, у нее оставалось что-то в запасе, ей было что предвкушать. Недавно Изабель исполнился двадцать один год, а жизнь ее скорее пустела, чем наполнялась смыслом. Отец получил назначение в Афганистан, а дядя Донашиану

все реже и реже приезжал в столицу. Теперь, когда по закону Изабель стала полноправной женщиной, он интересовал ее все меньше. Изабель, скорее всего, привлекала его невинностью и возможностью ее нарушить. Наступил май, здесь, на плоскогорье, начиналась зима, и ясные звездные ночи впервые заставили ее дополнить свой гардероб шерстяными свитерами. В этом семестре Изабель сменила специализацию с истории искусств на ботанику, но по-прежнему чувствовала, что плывет по течению, и образование ее не удовлетворяло. Само по себе учение не приносило ей радости — нудные серые ряды типографских знаков царапали глаза и требовали, чтобы она двигала зрачками туда и сюда, пока на свет Божий не выплеснется какой-то смысл, похожий на уродливого младенца; будущее не принадлежало письменной речи. Оно принадлежало музыке и струящемуся изображению, в котором одна картинка изящно перетекает в другую, будущее принадлежало мыльным операм, футбольным матчам и телевизионным повторам прошлогоднего фестиваля. Изабель поставила у себя в университетском общежитии телевизор, и ее соседи по комнате стали беспокоиться за нее. Она живет в мечтах, она провалится на экзаменах, твердили они. Она закурила еще одну сигарету «Голливуд» и резко ответила Сильвио:

— Черные никогда не восстанут — ни у нас, ни за границей. Они слишком счастливы и слишком хороши собой. Они слишком красивы. Так было всегда. Индейцы умерли от рабства, черные поднялись над ним благодаря величию своей природы. Они выше нас, поэтому позволяют обращаться с собой как с низшими. Как и евреи, они могут жить в ужасном двадцатом веке — именно жить, а не просто поддерживать в себе теплящуюся жизнь.

О евреях Изабель вспомнила, чтобы подыграть Сильвио, словно приближая на какое-то мгновение то время, когда они лягут в постель. Он происходил из так называемых «новых христиан» — крещеные евреи приехали в Новый Свет с первыми португальскими колонистами и процветали в экономике, основанной на производстве сахара; казалось, будто они влились в бразильское общество без каких-либо предрассудков. Однако их еврейские корни не были забыты начисто, и, несмотря на то, что разница между новыми и старыми христианами уменьшалась одновременно с ослаблением католицизма, продолжавшимся от поколения к поколению, она так и не исчезла полностью, как пятно на скатерти, которое остается после множества стирок, хотя и становится все бледнее и бледнее.

Кларисса, соседка Изабель по комнате, с Сильвио уже спала и хотела теперь переспать с Нестором, хотя Изабель и рассказала ей, заходясь от неприличного смеха, на что это похоже. Поэтому она лениво затянулась сигаретой «Континенталь» и враждебно заметила:

— По-моему, ты их идеализируешь, дорогая. Впрочем, как и все мы, — чтобы избавиться от чувства вины за те отвратительные условия, в которых они живут. И что самое отвратительное, они сами, своей живописной внешностью, потакают нам в этом.

В разговор вмешалась еще одна студентка в круглых маленьких очках на кончике крошечного носика — педантичная Ана Витория с поразительной прической: ее крашенные ярко-рыжие волосы торчали грубыми кочьями.

— Точно так же их романтизирует и современная социология, вслед за Жилберто Фрейром, этим маэстро самовосхваления. Если бы

бразильцы не пускались в романтику, они бы осознали реалии своей жизни и реализм взглядов Карла Маркса.

— Карл Маркс — сам романтический дурак, — презрительно отозвался Нестор. — Он считает пролетариат одним огромным сверхчеловеком, а на самом деле это просто сборище жуликоватых, мелочных чернорабочих и грузчиков. Как и капиталисты, коммунисты пытаются залакировать жестокий гнет своего общества славными мифами. Чем Кастро, Мао и Хо Ши Мин не кинозвезды, чем не Микки-Маусы и Гэри Куперы с ярких плакатов? Все правительства стараются скрыть правду о самих себе. Только анархия рождает правду о людях. Мы звери, убийцы, дикари, шлюхи.

— Зачем ставить слово «шлюха» в один ряд с такими оскорбительными понятиями? — возразила Ана Витория. — Шлюха — это женщина, торгующая определенным товаром в определенной рыночной ситуации. Царицы нашего общества, все эти принцессы Грейс из Монако, торгуют тем же, но в другой ситуации. Сексуальной морали не существует. Это выражение — оксюморон. Женщинам нужно как-то выжить.

— Верно! — вскричал Нестор торжествующим тоном главарей военного переворота, которые захватывают власть, воспользовавшись всеобщим хаосом.

— Верно, верно, — эхом отозвалась Кларисса с другой стороны столешницы, сделанной из цельной доски красного дерева, которая успела пропитаться пролитым мороженым и покрыться полосками обуглившихся следов пепла. Она заговорила хриплым горловым голосом, обращаясь к Нестору: — Анархия — единственное честное состояние для человеческой расы, состояние без романтизма и без капитализма, без марксистского дерьма.

От такого комплимента лицо Нестора вдруг поглупело, а прыщавая челюсть отвисла, будто он вот-вот кончит. Изабель закрыла глаза, представила себе его червеобразный орган, и ее передернуло.

— А ты, Изабель, согласна с нами? — спросил Сильвио, решив, скорее всего, что такая переоценка всех ценностей приближает его победу над ней.

— Ана говорит только о выживании, а я — о жизни, — ответила Изабель и немного покраснела, ощутив, как наивно прозвучали ее слова. В ее жилах тек лихорадочный огонь, неведомый остальным. Лицо Сильвио стало вдруг напряженным и осторожным, как у Эвклида, брата Тристана, в тот день на пляже — он хотел сделать важное объявление и заговорил таким страстным шепотом, что, казалось, даже сигаретный дым замер, прислушиваясь к его словам.

— В четверг. Будет общеуниверситетская акция. В полдень. Мы пойдем по Эйшу-Родовариу до собора, а потом к президентскому дворцу, пока полиция не откроет огонь. Нам нужны жертвы, чтобы получился международный скандал. Там будет телевидение, нам обещали. Акция должна совпасть с забастовками рабочих на текстильных и целлюлозных комбинатах. Это будет прекрасно — мы уьем зверя ценой собственных жизней. Оставшиеся в живых собираются позже на площадке для гольфа.

Голос Аны Витории зазвучал высоко и решительно, словно кто-то переворачивал ломкие страницы.

— Студенческие протесты — прямая противоположность протестам рабочих: это всего лишь попытка молодого поколения правящего класса сохранить власть в своих руках, прикрываясь

революцией.

— Бразилия — не излишне романтическая страна, наоборот, она недостаточно романтична, — вступил Нестор, подбодренный страстью Клариссы. — Это самая прагматичная нация на нашем континенте.

Кем были наши революционеры? Один зубным врачом, писавшим плохие стихи, другой — сыном императорского регента, пытавшимся сохранить за собой рабочее место отца!

— Изабель! — раздался вдруг чей-то голос, одновременно смущенный и требовательный. — Изабель.

Она открыла глаза и увидела перед собой Тристана. Он стоял по ту сторону стола — высокий черный парень с большим оранжевым рюкзаком и такой застиранной футболкой, что надпись на ней едва можно было различить. Под испуганными взглядами друзей она на какое-то мгновение заколебалась и даже не сразу узнала его. Первым ее чувством был страх.

— Как ты нашел меня? — спросила она.

Обвиняющие нотки в ее голосе заставили Тристана улыбнуться.

По тому, как легко и неторопливо обнажились его белоснежные зубы, она снова узнала в нем то существо, что дополняло лучшую и сокровеннейшую часть ее существа. Его прямоугольный лоб показался ей еще выше, чем прежде: он походил на бастион, возвышающийся над глубоко посаженными глазами, которые печально плавали в собственной чернильной темноте.

— По запаху, — с мягким акцентом кариоки объявил он своим глубоким и полным голосом, и за столом тут же прекратились споры и воцарилась тишина. Форма его носа, слегка приплюснутого, словно для того, чтобы ноздри легче ловили воздух и его ароматы, делала гиперболу вполне допустимой.

Голос его отозвался в ней эхом: она словно услышала, как струнный квартет сменяют звуки арфы. Его улыбка медленно угасла, и он объяснил с серьезным видом:

— Виргилию узнал от Сезара, что ты учишься здесь в университете. Когда я сошел с автобуса после пятнадцатичасового путешествия, то спросил, где собираются студенты. Это уже двенадцатое по счету кафе. Ты, кажется, не рада видеть меня. Тебе уже не восемнадцать лет.

— Я рада, — сказала Изабель. — Пропусти, пожалуйста, — обратилась она к Сильвио, который загораживал выход из кабинки.

— У тебя неприятности? Кто этот оборванец? — спросил он.

Изабель почудилось, будто голос Сильвио обесцветился. Она услышала в нем страх, хотя только что он хвастливо собирался идти грудью на ружья военных, чтобы собственной кровью написать сводку новостей. Она взяла себя в руки и объяснила твердым голосом:

— Это мой друг. — Она не смогла заставить себя сказать «мой муж».

Кларисса обменялась заговорщицким взглядом с Нестором, а Ана Витория, сидевшая рядом с последним, глядела прямо перед собой, будто ожидала, что марксизм подскажет ей дальнейшие действия. Сильвио из вредности не стал вставать и лишь только отодвинул колени, чтобы Изабель могла протиснуться мимо него, — ее зад в облегающей мини-юбке проскользнул в паре сантиметров от его носа. Прыщавое лицо Нестора покраснело, как будто его отхлестали по щекам, — настолько его смутило это вторжение в их студенческую жизнь.

— Чао, ребята, — сказала всем Изабель.

— Чао, — нестройно и хором откликнулись они.

— Адью, — более церемонно произнес Тристан и откланялся.

Прижав тяжелую книгу по ботанике к упругим грудям, она последовала за ним сквозь стену сизого сигаретного дыма и вышла на улицу. Свежий воздух, ночное небо, ощущение близости его мускулистого тела — это было мороженое совсем иного рода: его вкушают не ртом, а органами, расположенными в нижней части туловища, связанными сокровенными нитями с душой и ее аурой. На его плече сквозь дырку на футболке Изабель разглядела треугольник чернее самого черного дерева и вспомнила, как трогательно чувствительна к шрамам черная кожа, которая, в отличие от белой кожи, помнит каждую царапину и нарыв, сохраняя навсегда пятна мутно-серого цвета, похожие на следы мела на плохо вытертой доске.

Под звездами

Городские огни отталкивали ввысь давящую арку пустоты.

Рестораны, в которых подавали водянистый куриный бульон с рисом, и бары, откуда доносился резкий хохот молодежи, отбрасывали на тротуаре квадраты света. Прямоугольные горящие окна громоздились над их головами, будто пытаясь числом и яркостью затмить звезды. На тот случай, если ночь будет прохладной, Изабель надела небольшую шерстяную блузку с коротким рукавом и завязала вокруг талии свитер с изображением купола национального собора со множеством щупалец. Она ускорила шаг, чтобы не отставать от Тристана, и болтающийся свитер придавал ей беззаботный, вызывающий вид. Грубые белые тенниски Тристана вспыхивали перед ней, то появляясь, то исчезая в лужах электрического света. Прохожие оглядывались на них: они не подходили друг другу, однако в Бразилии живет множество не подходящих друг другу пар.

Уже запыхавшись, она осмелилась коснуться его руки, словно хотела, чтобы он шел помедленнее, но тут же рука ее дернулась прочь, испугавшись стальной твердости бицепсов. Да, он повзрослел, мускулы его стали крупнее, а лицо осунулось и, как она заметила, в уголках губ, там, где раньше кожа была гладкой, появились едва видимые морщинки. Ее словно что-то приподнимало в воздух, она летела вперед, будто поток времени проскочил через пороги и теперь несся вниз по крутому руслу.

— Я много работал, — сказал он. — Два года мне пришлось заворачивать болты креплений двигателя на автомобильном заводе, и они начали сниться мне по ночам. Я хотел видеть во сне тебя, Изабель, но я постепенно терял твое лицо, забывал твой голос, день за днем и ночь за ночью. Я взбунтовался и порезал лицо брату, лишь бы сбежать оттуда.

— И вот ты видишь перед собой меня, — сказала Изабель с наигранной беззаботностью, положив свою маленькую ручку на его руку и поворачивая его, а вместе с ним и тяжелый, как горб, оранжевый рюкзак туда, где огни постепенно редели. — Я все еще нравлюсь тебе?

Ее милое обезьянье личико, бледное от студенческих бессонных ночей, стало вдруг хрупким, будто печаль жизни постепенно высасывала из нее соки.

— Потрогай меня и увидишь, — сказал он.

— Прямо на улице? Ты с ума сошел, Тристан. — И все же от одной мысли об этом у нее увлажнились трусики.

— Тебе стыдно быть со мной? Я сбежал из дома моего брата в одежде, в которой обычно сплю. Поэтому выгляжу таким оборванцем. На самом деле у меня есть сбережения, накопленные за два года, они в рюкзаке.

— Я всегда счастлива быть с тобой, — сказала она и на ходу провела рукой по его ширинке, где уже пробудился початок.

— Нам нужно трахнуть и поговорить, — сказал он.

— Да. Идем, муж мой, уже недалеко.

Огни города остались позади, они проходили мимо рабочих, кучками ожидавших автобуса, который отвезет их в бедные поселки, тянущиеся на много миль в зарослях за пределами города. Бледные рубашки рабочих возникали и исчезали в темноте, как барашки на поверхности океана. Теперь, когда автомобили не освещали их фарами, видно было только мелькание его туфель, колыхание свитера на ее бедрах и длинные платиновые волосы Изабель. Тротуар кончился, но посреди шоссе шла просторная, засеянная травой разделительная полоса шириной с городской квартал. Когда они ступили на нее, Изабель почувствовала сквозь легкие сандалии уколы холодных капелек росы, опустившихся на землю из перевернутой чаши ночи, которая казалась теперь еще чище и прозрачней. Шаги их замедлились, они то и дело останавливались, целовались и ласкали друг друга, забираясь под тонкую одежду, чтобы коснуться податливой кожи.

Там и сям на огромной разделительной полосе шоссе были посадки, настоящие рощицы; когда они подошли к одной из них, курс ботаники помог Изабель узнать пакова — дикие бананы — по огромным, широким листьям, усеянным светящимися цветами в форме испанского штыка. Заросли здесь были столь густыми, что Тристан и Изабель смогли почувствовать себя укрытыми от посторонних глаз в этой «комнате» с измельченной корой и высохшими ветвями бананов вместо пола. Когда влюбленные опустили на него, они увидели высоко над собой черное небо, усыпанное звездами, которые собирались группками в определенных местах, подобно тому, как растения пустыни собираются вдоль высохшего русла, по которому когда-то бежала вода. В этой рощице, вдали от капризных огней Бразилиа, звезды сияли с такой силой, что мощь их света побеждала хаос вселенной: вот-вот должно было произойти какое-то великое чудо. Им оказалось достаточно стянуть трусики и шорты, для того чтобы снова стать любовниками. Ее лоно стало для него бальзамом, пролитым на двухлетнюю язву.

— Давай никогда больше не расставаться, — выдохнул он. Его удары все еще отдавались во всем ее существе.

— Не будем, — обещала она.

— Куда нам идти? Гнев твоего отца будет преследовать нас повсюду.

— Это не гнев, это дурной вкус, привитый отцу его культурным окружением. Посмотри вверх, Тристан. Небо огромно, и столь же огромна Бразилия. Мы отправимся на запад и затеряемся в ней. Они лежали, укрывшись в декоративных посадках, напоминающих джунгли благодаря неистребимому дикому банану, и тонкий аромат его зеленых и продолговатых плодов смешивался с запахом выделений Изабель и вонью тела Тристана, которое сильно пахло после тяжелого дневного путешествия. Автомобили стремительно проносились мимо них по обеим сторонам современного

шоссе. Огни фар, похожие на крылатых огненных ангелов, слепо тыкались в заросли, по рощице шарили рваные узорчатые тени от стеблей и листьев дикого банана, открывая глазам влюбленных их обнаженные ноги и животы. В потоках ярких лучей им обоим показалось, что лица у них испуганные. Оба пытались представить себе материковую часть Бразилии.

— Некоторое время мы сможем жить на мои деньги, — сказал Тристан, — но инфляция съест их, надолго не хватит.

— У меня есть только карманные деньги, но я могу стащить кое-какие вещи из квартиры отца, и мы продадим их подороже. Потом, у меня до сих пор сохранился подсвечник, который я не отдала твоей матери, портсигар дяди Донашиану и маленький крестик. Я могу унести то, что отец сохранил из драгоценностей моей матери. Они все равно принадлежат мне.

— Не бери ничего такого, что было бы дорого твоему отцу, — повелел Тристан. — Я надеюсь однажды стать ему другом. Изабель невольно фыркнула, показав тем самым Тристану, сколь безнадежны подобные мечты. Страх, темный и обширный, как те просторы, которым они вверили себя, наполнял холодом все его нутро, и все же рядом с нею страх становился вдвое слабее. Пока они трахались, к бедрам Изабель прилипло несколько крошек дробленой коры бразильской сосны, которую рассыпали здесь вместо удобрений, когда сажали рощицу. Теперь кора эта разлагалась, возвращаясь обратно в природу. Тристан попросил Изабель встать на четвереньки, как стояла Одетта, и стряхнул кусочки коры с двух полушарий ослепительно белых ягодиц. Он поцеловал левую ягодицу, потом правую и засунул язык в тугую маленькую дырочку между ними. Он никогда не делал этого раньше, даже в отеле «Амур». Она инстинктивно подалась вперед, но потом, почувствовав серьезность его намерений, снова придвинулась к его лицу, не желая марать их любовь пятном стыда. Все, что принадлежит ей, принадлежит и ему. Это было новым для них. Его чуткие ноздри, которыми она так восхищалась в тот вечер, вдохнули первобытное таинство ее дерьма, материи, которая была в ней и в то же время ей не принадлежала. Тем самым он оставил позади Одетту и спокойно принял свою судьбу, связанную теперь с Изабель.

Когда наша парочка вышла из рощицы диких бананов, абстрактный узор огней Бразилиа на горизонте походил на дырочки в картонных билетиках, столь мощным был поток звездного света. Возвращаясь в столицу по темной разделительной полосе, Изабель и Тристан договорились встретиться в семь утра на автобусной станции и отправиться в Гойанию.

Гойас

Автобус был похож на грузный скрипучий ящик желто-зеленого цвета, сверху донизу покрытый красной пылью и засохшей грязью. Поначалу он был забит битком, но затем — когда они ускользнули прочь от хрупкой современной жизни Бразилиа и миновали кольцо бедных городков, возникших вокруг столицы во время суматохи строительства и, вопреки планам властей, так и оставшихся в зарослях вокруг нее, — быстро опустел. Скоро в автобусе остались лишь несколько пассажиров, они выехали из федерального округа и очутились в настоящей сельской местности, «кампу серраду», где уродливые низкие перелески отделяли друг от друга поля на склонах холмов, а сами поля во второй месяц сезона засухи покрывала бурая

растительность. Ботаническое образование Изабель помогло ей опознать табак, бобовые, хлопок и пшеницу. Сжатые поля казались брошенными. Есть в сельском пейзаже какая-то печаль, от которой немели души нашей городской парочки, — пейзажи повторялись и навевали зевоту, как речь человека со скудным запасом слов, когда он никак не может остановиться. Там, где полей не было, выжженную неогороженную саванну, простиравшуюся до голубых горных хребтов на горизонте, усеивали отдельные группы черного скота; скот этот был почти неотличим от поросли колючих кустарников. Наверное, земли эти были когда-то более плодородными; дорога проходила через опустевшие, словно треснувшие кувшины, города, где сорняки хозяйничали в садах полуразрушенных усадеб.

Наша влюбленная парочка держалась за руки — ладони у них вспотели и стали липкими от усиливающегося зноя. Спали они по очереди. Тристан провел эту ночь на лавке автобусной станции. Он боялся, как бы его не обокрали, и обмотал руки ремнями рюкзака, прижав его к животу, деньги он спрятал в шорты под кармашек с лезвием бритвы, ожидавшей своего часа. В зале ожидания ярко горели огни, и небольшая группа местных жителей, похоже, привыкла устраивать здесь нечто вроде игорного клуба; играли они, правда, в домино, громко стуча костями по лавкам, и с визгом бросали фишки, когда резались в «бозо». Он засыпал минут на десять, просыпаясь от боли в обмотанных ремнями руках. Изабель лежала без сна в своей невзрачной комнате в конце слегка изогнутого коридора и слушала, как возится, засыпая, высокий худой слуга и его толстая жена. Изабель смотрела на стены комнаты, которые она украсила студенческими плакатами, пластинками и книгами, и толстые корешки книг смотрели на нее в лунном свете, укоряя за дезертирство. В пять утра она встала, потихоньку упаковала два синих чемодана и прошла вниз в большой холл, решив, что охранник в столь ранний час будет безмятежно спать на скамейке за своим столом. На улице с двумя тяжелыми чемоданами ее скорее приняли бы за приезжую, которая надеется найти работу в правительственных учреждениях, чем за беглого ребенка из богатой семьи. Она приехала на автобусную станцию на такси и разделила с Тристаном скромный недорогой завтрак — кофе, хлеб и сыр. На этот раз они пообещали друг другу вести себя более экономно, чем в Сан-Паулу.

Резкий толчок разбудил их, когда автобус, скрипя и раскачиваясь, остановился у единственной церкви какого-то городка, украшенной одиноким голым крестом на вершине искусственного фасада с вытесанными из камня жестикулирующими святыми, у которых были отколоты носы и прочие части тела. На залатанном фасаде магазина напротив остановки автобуса висели только изодранные в клочья старые рекламные транспаранты. Единственным символом коммерции была старая карга, которая продавала колосья пшеницы, поджаренные на угольной жаровне прямо на солнцепеке у белой стены. Ее грязное платье украшал кружевной лиф, а голову венчала пластмассовая кепка с прозрачным козырьком и рекламой пива «Брахма». Казалось, будто глиняная черепица на крыше здания потрескалась и покосилась под тяжестью равнодушного неба, синего, как свежая краска.

Продвигаясь внутрь страны, они словно путешествовали назад во времени. Дороги становились уже, и все меньше автомобилей боролись с автобусом за место на шоссе. Мимо проплывали мужчины и женщины, восседавшие на ослах с огромными, как у кукол,

ресницами. Машины имели прямоугольные кузова, подножки и гнутые из цельного листа крылья тех времен, когда в стране не было своей промышленности и автомобили после долгих путешествий по Северной Америке и многочисленных ремонтов поступали наконец в Бразилию. Впереди, ближе к горизонту, по дороге неслись грузовик с дощатым кузовом, оставляя за собой расширяющееся облако рыжей пыли, а пастухи вакеро, одетые в кожу, были столь обильно посыпаны пылью, что их трудно было отличить от лошадей под ними и стад, которые они пасли. Да и сам пейзаж здесь, где огороженные проволокой поля не нарушали монотонности слегка всхолмленного плоскогорья, походил на пыльную темно-коричневую шкуру, которая не боится ссадин и воды, но хранит множество шрамов и потертостей. Сначала Тристан и Изабель с интересом вглядывались в однообразные пейзажи Гойаса, но через некоторое время у них защемило глаза, и они снова стали говорить о себе. Животы урчали от голода и страха перед тем, что они на себя взвалили.

— Здесь все принадлежит скоту и его владельцам, — заметил Тристан. — Я пока не вижу места для нас, как бы просторна ни была эта земля.

— Мы проехали всего лишь несколько миль, — заверила его Изабель. — А Бразилия бесконечна. Как бесконечны и наши возможности.

И все же в городе Гойания, куда они прибыли через шесть часов, безжалостная планировка улиц, расположенных по кругу и снабженных номерами вместо имен, постоянно возвращала их мыслями к автобусной станции на Авенида-Аньянгера. Сон урывками и нерегулярное питание начали сказываться на Тристане. Изабель упаковала в два синих чемодана много одежды и разных сокровищ, спина под оранжевым рюкзаком болела — жена тяжелым драгоценным камнем повисла на его шее. Мутными от кашасы взглядами меднокожие работники ранчо провожали на улицах ослепительно белую девушку с иссиня-черным мужчиной. Вдали от побережья индейская кровь чувствовалась сильнее. Тристан явно привлекал внимание, а в Гойании атмосфера была почти такой же, как в Бразилиа, — здесь планировщики тоже навязали податливой пустоте абстрактный узор, и потому отец Изабель казался угрожающе близким. Молодая парочка умирала от голода, однако рестораны, к которым они подходили, отпугивали их доносившимися оттуда взрывами грубого мужского хохота, стуком шпор по деревянному полу и терпкими запахами жаренной на углях говядины и дешевой пинги. Наконец они нашли на Авенида-Президенте-Варгас заведение под названием «Ресторан Дорадо», который специализировался на блюдах из рыбы, пойманной в окрестных реках и озерах. Ресторанчиком владел украинец, лысый человек со стальными зубами. Ему понравились его новые посетители, такие же экзотичные, как и он сам. Рыба Дорадо, сказал он им, особенно вкусна с соусом из бананового пюре, смешанного с толченым луком и лимонной цедрой. На десерт он порекомендовал редкий фрукт под названием мари-мари и сидел за их столиком так долго, что успел объяснить, каким образом его сюда занесло. История эта была запутанная и начиналась во время какой-то войны. Его захватили в плен во время немецкого нашествия и вынудили вступить в особые войска, которые охраняли какие-то непонятные лагеря для пленных. Он бежал, когда русские вторглись в Польшу, зная, что они казнят его как предателя и военного

преступника.

— Я повидал слишком много истории, — говорил он. Каким-то образом он сумел пробраться в Бразилию. — Это счастливая страна. У нее глубокие карманы и короткая память. — Когда украинец смеялся, его старомодные железные зубы сверкали во рту, как ножи в ящике кухонного стола.

Утолив голод и восстановив жизненную энергию, Тристан и Изабель забрели в магазинчик на извилистой улочке под названием «Руа-82» и купили себе по паре востроносых ковбойских сапог, украшенных замысловатой вышивкой. Восприняв гостеприимность хозяина ресторана за доброе предзнаменование, они сели на ночной автобус, отправлявшийся на север к Гойас-Велью и хребту Дорадо. Влюбленные очнулись от тяжелого сна и увидели, как автобус, подпрыгивая на камнях и скрежеща коробкой передач, карабкается вверх по дороге, которая превратилась в широкую грунтовую тропу. Было раннее утро. В сумерках ветки колючих кустов скребли по бортам автобуса. Оград вокруг больше не было, и автобус то и дело останавливался, чтобы пропустить стадо зебу — черных животных с опущенными ушами и нелепыми горбами. В одном месте автобусу довольно долго пришлось тащиться следом за запряженной быками повозкой, которая везла початки кукурузы под охраной босоногого мальчика лет десяти с кнутом и прохудившейся соломенной шляпой на голове. Когда рассвело, они увидели разбросанные по склонам холмов белые одноэтажные ранчо, а чуть повыше, там, где лишь небольшие расчищенные участки земли, засеянные маниокой и бобами, свидетельствовали о попытке человека бороться с пальмами, ползучими лианами, колючими кустарниками и опунтиями, стояли некрашенные хижины. То карабкаясь вверх, то устремляясь вниз, автобус шел по дороге, и голова Изабель, налитая свинцом отчаяния, покоилась на плече Тристана. Еще до полудня они приехали в городок у горного ручья; в нем почти ничего не было, кроме таверны, магазинчика и церкви с запечатанной дверью.

— Где мы? — спросил Тристан у водителя автобуса, когда пассажиры, будто по команде, которую Тристан пропустил мимо ушей, высыпали из автобуса на скользкий синий булыжник городской площади.

— Это Курва-ду-Франсес, — ответил водитель. — Дальше дороги нет.

Пассажиры постепенно расходились. Одних встречали, и воссоединившиеся пары, обнявшись, разбирали узлы, привезенные издалека, и удалялись в свои невидимые дома по протоптанным в зарослях дорожкам. Изабель подташнивало, и голова ее отяжелела после долгого путешествия; ее ошеломила та пропасть, в которую они низвергнулись. Сердце Тристана словно закрылось на замок. Ему пришлось набраться храбрости на двоих. Он должен защитить скрытые в багаже сокровища и свою пачку, крузейру. Может быть, так далеко от побережья инфляция их не достанет.

Откуда-то доносилось стремительное веселое журчанье горного ручья. Вокруг словно сгустились сумерки: высокие деревья подступали к самой площади, и солнце, как небольшая размытая явочка, светило сквозь пелену облаков не ярче луны. Открытая дверь таверны под названием «Флор да Вида» манила к себе — только там угадывались признаки жизни и можно было укрыться от непогоды. Когда они вошли, горстка посетителей замолчала, прекратив разговор,

который они вели такими громкими, резкими и гнусавыми голосами, будто старались перекричать ветер. Официантка — совсем еще ребенок, с плоским, как тарелка, лицом и столь туго затянутыми в узелок волосами, что они облегли ее голову, будто толстый слой лака, — робко подошла к ним.

— Мы с женой проголодались, — сказал Тристан, даже в этой скромной обстановке наслаждаясь возможностью называть Изабель своей женой. Казалось, будто из его тела выросло еще одно, и это сложное, неуклюжее, двойное существо внушало суеверный страх, так как обладало чудовищным чувством собственного достоинства.

— Что у вас подают? — спросила Изабель мягко, чтобы получить ответ от робкой официантки. Ее девичьи интонации сменились серьезным голосом взрослой женщины.

— Рис и черную фасоль, — выдавил из себя ребенок, — и фаринью.

— А что еще у вас есть? — спросил Тристан.

— У нас больше ничего нет, господин, — ответила маленькая девочка, а потом добавила: — Есть еще копченая козлятина.

— Хорошо, мы с удовольствием все это съедим, — проговорила Изабель. Когда официантка исчезла за гремящей вращающейся дверью у стойки бара, Изабель положила белую руку на руку Тристана и сказала: — Мы приехали в царство, где не из чего выбирать.

— Ешь копченую козлятину или помирай с голоду, — ответил он с горькой усмешкой.

Однако, когда принесли еду на дымящихся тарелках, она оказалась удивительно вкусной. Даже жилистая козлятина таяла во рту. Они заканчивали трапезу, когда к ним подсел грузный невысокий мужчина, чья рыжая борода почти сливалась с медно-красным цветом его лица. Борода его росла почти от самых глаз, и даже на кончике носа торчало несколько волосинок. Не спрашивая, маленькая официантка принесла им бокалы с прозрачной пингой[11], и теперь дружелюбный незнакомец подсел к ним со своим бокалом.

— Что привело вас в Курва-ду-Франсес, к подножью Дорадо? — Голос незнакомца звучал грубо, однако речь была витиеватой, как тяжеловесная деревенская подделка стиля барокко.

— Просто автобус дальше не идет, — ответил Тристан, для уверенности коснувшись пряжки ремня. — У нас не было выбора, дружище.

Рыжий человек улыбнулся, в его имбирной бороде показался неровный ряд гнилых зубов.

— Дорога вовсе не кончается в этом городке, а водитель — просто мошенник. У него тут женщина в пригороде, с которой он проводит ночь. А дорога уходит дальше на много миль, поверьте мне.

— А здесь есть пригороды? — спросила Изабель девичьим голосом и звонко рассмеялась.

Рыжий человек остановил на ней мутный взгляд своих глаз и заявил:

— Пригороды обширны. Когда-то в приходе было двадцать тысяч душ, не считая племен индейцев Тупи и Шакриаба.

— И что же потом произошло? — спросил Тристан.

Глаза человека под огненными бровями заговорщицки обвели зал, словно то, что он сейчас скажет, не должен знать никто из сидящих в ресторане.

— Золото кончилось. — Он сделал театральную паузу. Поверх

грубой рубашки красно-коричневого цвета он носил такого же цвета кожаный жилет, и невозможно было разобрать, то ли они с самого начала были выкрашены в этот цвет, то ли их сделала такими местная пыль. — Однако Курва-ду-Франсес еще станет метрополией, — заверил он. — Все планы строительства сохранились.

Концентрические авеню, симметричные парки, красивая больница в иезуитском монастыре — все цело. Предусмотрены также — простите меня, сеньора, за столь вульгарные речи — бордели, чьи входы и выходы устроены так, чтобы посетители могли приходить и уходить никем не замеченные. — Его бегающий взгляд неприлично долго задержался на Изабель, словно незнакомец ожидал ответа.

— Звучит совсем неплохо, — сказала она, — особенно для тех, кто нуждается в подобных услугах.

Тристан коснулся лезвия бритвы в кармане и спросил прямо:

— Найдется ли в этом районе работа для мужчины?

Казалось, что рыжий человек ошеломлен вопросом.

— Умоляю вас, сеньор, посмотрите вокруг. Что вы видите? Лачуги да колючки, воспоминания и надежды. Золото, как я уже сказал, кончилось. Оно ушло в другие места. — Теперь его вопросительный взгляд остановился на Тристане.

Наш молодой герой клюнул на приманку.

— Куда же оно ушло?

— Туда. — Их осведомитель неопределенно махнул рукой, указывая сквозь стены таверны в сторону возвышающихся над ними гор. — В Серра-ду-Бурако. Там, мой юный друг, тысячи мужчин богатеют своим собственным трудом. Каждый день они находят самородки размером с мой кулак, — он показал свою лапищу, похожую на огромный комель с корешками рыжих волос, — или, по меньшей мере, размером с печатку на кольце дамы, — он заметил в сумраке таверны блестящий овал с надписью «ДАР». — За несколько самородков размером со спичечную головку можно купить столько красивых платьев, что даме хватит лет на десять. Вы, как я успел заметить, привезли с собой весьма увесистые чемоданы.

— Мы ищем, где поселиться, — объяснил Тристан, бросив взгляд на Изабель, чтобы убедиться, не сказал ли он лишнего.

— Зачем вам это? — спросил рыжий человек, сияя от удовольствия. — Судя по виду вашей дамы и ее красивой одежде, предыдущее ее жилье было весьма уютным.

— Уют бывает разным, сеньор, — ответила Изабель, и ее женственный голос зазвучал тверже, словно втискиваясь в мужской разговор. Тристан был благодарен ей за это, испугавшись, что в одиночку он может провалить возможные деловые переговоры. Человек улыбнулся так широко, что из-под его курчавой бороды впервые показались розовые губы. Он обратился к Изабель, словно бросая ей вызов:

— А вы нашли для себя ни с чем не сравнимый уют в объятиях черного молодца, не так ли?

— Да, — холодно, к удивлению Тристана, ответила она.

Он понял, что женственность, которой он наделил Изабель, теперь стала частью ее существа и она может одарить ею других мужчин, если пожелает. Это встревожило его.

— Я рад за вас, сеньора, — спокойно ответил незнакомец, так потупив кустистые брови, что почти закрыл ими налитые кровью глаза. — Здесь, в Курва-ду-Франсес, люди привыкли уважать плоть и

ее нужды.

Тристан снова вмешался в разговор:

— Как можно получить работу на этом прииске? В Сан-Паулу я работал на сборке «жуков» — в мои обязанности входило завинчивать болты левой стороны крепления двигателя.

— А... — произнес человек с уважением. Его лохматые рыжие брови поднялись, и количество морщин на медном лбу удвоилось. — Я слышал, что в Сан-Паулу делают экипажи. Эти паулисты — умный народ, но они безжалостные люди. Вы правильно сделали, бежав от них, мой черный друг. Они думают только о том, как бы раздобыть побольше рабов. В Серра-ду-Бурако вы не будете работать на других, вы станете гаримпейру — свободным старателем и независимым предпринимателем. Все золото, найденное на вашем участке, — за вычетом восьми процентов государству и разумных взносов в кассу кооператива горняков, который поддерживает порядок, ведет учет и обеспечивает функционирование промывочных желобов и дробилок, — будет принадлежать вам. Не воображайте, будто золото само выскакивает из земли, дабы украсить пальцы дамы. Нужно преодолеть лишения, пройти шаг за шагом множество этапов, а это бросает вызов бразильскому организаторскому таланту. Кусочки золота похожи на вошек в спутанных волосах матушки-земли — они прячутся в них, зарываясь все глубже! Но тяжесть золота выдает его: когда смываешь в корыте более легкие минералы, грязь и песок, эти маленькие зверюшки застревают на дне! Вам понадобится промывочный таз — батеа, — поскольку кооператив разрешает каждому гаримпейру относить в свою хижину наиболее многообещающие куски руды, а потом, дружище, вечером садишься на корточки, преодолевая боль в мышцах, возишься у этого болтливого колдуна — горного ручья, — и на ребристом дне таза появляются светляки самородков: эти маленькие чертенята, эти драгоценные золотые мошки не в силах перескочить через ребра батеа! Не раз доводилось мне видеть, как мой бедный товарищ, у которого за душой не было ничего, кроме лохмотьев, прикрывающих спину, за одну только ночь становился богаче лордов самого Дона Педру Сегунду![12] Странно было слышать, что о Доне Педру Сегунду говорят как о живом. И все же Тристан спросил:

— Как же получить эту работу?

Рыжие брови снова вскинулись, причем так высоко, что открыли бледные круги вокруг уставших, мутных от пинги глаз.

— Эту работу нельзя получить! Перестань думать как раб! Ее нужно пойти и взять! Чтобы разбогатеть, нужны только кирка, молот, лопата, батеа и участок земли.

— А как можно получить участок земли? — спросила Изабель.

Годы наблюдений за тем, как дядя Донашиану управлял своим богатством, привели ее к выводу о том, что почти все имеет свою цену, и лишь очень немногие вещи бесценны.

— Ну, участок можно купить! — услышала она в ответ. —

Участок можно купить у гаримпейру, который, как я, сделал себе состояние и теперь, когда на него надвигается старость, желает насладиться этим богатством. Однако будьте уверены — хотя я и успел обеспечить себя на всю жизнь, несколько раз копнув лопатой, и теперь могу жить в достатке, пока меня не положат в роскошный гроб, — на моем участке осталось столько золота, что хватило бы принцу и принцессе аравийским. В Серра-ду-Бурако нет другого такого участка:

он находится как раз там, где древний вулкан слил воедино жилу свинца и поток чистейшего синего огня, создав настоящий золотой рог, застывший в земле, словно матушка-земля трубит из него самую радостную из своих песен! Вот он, смотрите.

И он вынул из-за голенища сложенный лист бумаги, которая изогнулась, как обувной рожок, и пропиталась запахом обутых в кожу ног. Это была карта, побуревшая, хрупкая и грязная: ее так часто складывали и разворачивали, что теперь на столе протершиеся линии складок образовали просвечивающую решетку. Карта являла собой огромную шахматную доску, с пронумерованными полями, и в один из квадратов так часто тыкали пальцем, что номер его стерся.

— Вот он, мой любезный. Щедрый, как женское лоно, простите за выражение.

Все участки, по словам незнакомца, были размером полтора на полтора метра, а в глубину уходили до бесконечности, хоть до самого центра земли, если сумеешь до него докопаться. Когда они спросили о цене, рыжий человек назвал сумму вдвое больше всех крузейру, которыми располагал Тристан.

Тристан посмотрел на Изабель, и она увидела огонь в его черных глазах, а гордый его лоб выдавал страстное желание бросить вызов упрямству земли и испытать свою силу и хитрость. Чтобы этот огонь не выдал его, она поспешила сообщить рыжему человеку твердым и уверенным голосом зрелой женщины, что, несмотря на чисто символическую цену, они не готовы купить участок сразу; им нужно отдохнуть с дороги и навести справки — они поговорят с ним утром.

— К утру посланную небом удачу может перехватить другой, — предостерег их гаримпейру и, подмигнув, оставил договариваться с беременной матерью круглолицей девочки о ночлеге в комнате на втором этаже таверны.

Тристану начинали нравиться эти забытые Богом места, а еще ему понравилось иметь в лице своей жены делового партнера.

Прииск

После затянувшихся за полночь споров они решили приобрести участок. С того самого часа, когда взгляды их впервые встретились на пляже, они были в руках Господа, и мысль о таком отчаянном шаге понравилась обоим. Теперь, когда они снова нашли друг друга, Тристан и Изабель окончательно уверовали в свою счастливую судьбу. Они смогут разбогатеть вдали от ее отца и его подручных. Рыжий человек взял все оставшиеся у Тристана деньги, и хрустальный подсвечник в придачу — тот самый, брата-близнеца которого Изабель, повинувшись велению сердца, отдала неблагодарной матери Тристана. Когда же и этого ему показалось мало, и Изабель почувствовала, что красные глаза человека вот-вот отвернутся от нее, прищурятся, словно «вглядываясь сквозь холодный утренний свет в далекое видение любезного его сердцу участка, и он откажется от сделки — она предложила ему медаль, украденную из бюро в спальне отца, — этой медалью его наградил король Таиланда за достойную службу на посту вице-консула Бразилии. Подвешенный на ленточке кружок украшало изображение слона в короне и надпись на каком-то экзотическом языке, которая как бы подчеркивала магический смысл медали. Мозолистый палец, поросший рыжими волосами, довольно погладил шелковистую поверхность металла такого же рыжего, как и сам незнакомец, и сделка свершилась. Ордер на участок, извлеченный из второго сапога, представлял собой несколько листов бумаги,

пожелтевших от постоянного пребывания за голенищем. У Тристана голова пошла кругом, когда он попытался прочесть документ, но ради соблюдения формальностей он несколько минут смотрел на многозначительные россыпи правительственных печатей, надписей мелким шрифтом и размашистых подписей чиновников.

Автобус, который привез их в Курва-ду-Франсес из Гойании, отправился обратно, после того как водитель провел счастливую ночь со своей дамой в зеленых пригородах. Тристана и Изабель подвезли до Серра-ду-Бурако в открытой повозке с высокими дощатыми бортами, запряженной волами. Четыре изможденных животных еле тащили повозку по дороге, поросшей травой. Двигались они большей частью вверх по склону, хотя временами им приходилось спускаться в небольшие ущелья, где дорога по гнущимся доскам мостов пересекала галечные русла рек.

Несколько часов их мотало на соломенной подстилке с тремя другими пассажирами — местизу гаримпейру (дословно «паразитами на гаримпейру»), — которые с удивлением рассматривали сверкающие волосы Изабель и два ее синих чемодана, таких тяжелых, будто в них были камни. Они решили, что дама едет в горы работать проституткой, а Тристан — что-то вроде ее прислужника-сутенера. Они шутивно обсуждали между собой, сколько она может стоить, и пришли к выводу, что появление такой роскошной сеньоры принесет удачу в Серра-ду-Бурако. Их заигрывания стали довольно развязными — темная рука потянулась к Изабель и погладила мерцающие волоски на ее руке, — и тогда Тристан, схватив ближнего пассажира за плечо, ударил его по лицу так же деловито, как заворачивал болты на заводе. Сосед, бормоча себе под нос, обозвал его черномазой шавкой, однако отвалился поближе к своим спутникам, потирая кровоточащую десну над зубом, который стал шататься после удара. Он уже успел потерять несколько зубов — может, в драке, а может, они просто сгнили.

— Мы собираемся попытаться счастья с богами золота, — объяснил им Тристан, словно извиняясь, и показал им сложенные бумаги.

Получивший по морде решил отомстить и ухмыльнулся щербатым ртом.

— В Гойании и Куйабе такие бумажки печатают сотнями, они ничего не стоят, — заявил он. — Вот доберетесь до места и увидите, что никакого участка у вас нет. Эта гора — гигантский муравейник, кишаший негодьями.

Услышав это, Изабель вдруг почувствовала, как холодный клинок пронзает ей сердце: она поняла — детство прошло, впереди неизвестность, и даже если их ордер на участок окажется подлинным, все равно начинается нечто такое, что может погубить лучшие годы ее жизни. Она еще теснее прижалась к Тристану, пытаясь обрести ускользающее спокойствие души. Хотя он и сконцентрировал все свое внимание на общении с мужчинами и самоутверждении в их глазах, мускулистая рука его рассеянно, но крепко обняла Изабель за талию.

Как оказалось, участок существовал в действительности: неразработанная земля рыжего человека возвышалась среди других участков высокой заброшенной колонной. Под ударами лопат то, что когда-то было горой, превратилось в гигантскую яму: не сотни, а тысячи людей работали в котловане шириной чуть меньше километра: они таскали мешки с мокрой глиной и долбили кирками скальную породу; взгромоздившись на деревянные лестницы, они вырубали террасы в отвесных скалах. Почти каждый день эрозия почвы и

результаты человеческого труда вызывали оползни, почти каждый день один-два гаримпейру умирали под этими оползнями или от болезней, истощения и поножовщины. Грабежи и убийства происходили прямо в карьере и в десятках бедняцких поселков, выросших на окрестных холмах, являя собой ряды кое-как построенных хижин, между которыми местами попадались редкие магазинчики, похоронные конторы и похожие на пришельцев из другого мира заведения маникюрщиц со множеством маленьких квадратных отделений для занятий «маникюром». Баров не было, в пятнадцатикилометровой зоне вокруг Серра-ду-Бурако действовал сухой закон. Не будь его, жертв среди старателей было бы гораздо больше. Здешние старатели, натренированные тасканием двадцатипятикилограммовых мешков с камнями по крутым лестницам и узким проходам по сорок раз по дню, были, пожалуй, самыми атлетичными мужчинами на земле: каждый мог похвастаться грудью штангиста и ногами футболиста. Буйные драки были для них единственным развлечением, и только те, кому по воле Божьей посчастливилось найти золотой самородок, могли позволить себе другие радости. На крутые террасы удачи слетался народ с выжженного солнцем голодного северо-востока и из полузаброшенных рыбацких поселков Байи и Мараньяна, из трущоб Форталезы и Ресифи и душных, кишящих болезнями и паразитами деревушек Амазонии. По закону земля на выжженных просторах хребта Дорадо принадлежала расположенной в далеком Сан-Паулу горнорудной компании, которая хоть и считалась бразильской, но полностью контролировалась арабами и гринго. Но потом федеральный суд издал указ, гласивший, что ни одного бразильца нельзя лишить права добывать золото. Право это уходит корнями в далекий 1500 год, когда португальцы впервые увидели зеленые берега Бразилии. Старатели основали кооператив, обеспечивавший работу промывочных желобов и поставляющий оборудование для первичного обогащения породы, которое загрязняло ртутью все местные реки. Кроме того, кооперативу принадлежали весовая и банк.

Как только Тристан разузнал все про работу и приобрел в лавке кооператива кирку, лопату, отбойный молоток и мешки — в придачу к помятой, но все еще блестящей батеа, которую рыжий человек продал им вместе с ордером на землю, — он почувствовал себя счастливым. На автомобильном заводе, вдали от Изабель, ему чудилось, будто его прижимает к полу непрерывный металлический грохот, он ощущал себя шестеренкой в громадном механизме, пустячной экономической прослойкой, вставленной между владельцами завода и профсоюзными деятелями. Его ставили напротив плосколицего Оскара с его беззубой улыбкой, чтобы Тристан заворачивал болты, пока его спина и плечо не зануют от боли. Каждый автомобильчик, ушедший дальше по конвейеру, содержал в своем маслянистом жукообразном теле частицу его крови. Здесь же, в выпотрошенной горе, Тристан стоял на вершине своей собственной каменной колонны и дробил ее на мелкие осколки, в каждом из которых могло оказаться сокровище, способное сделать богатыми и его, и Изабель. Тристана переполняло чувство свободы и легкости: его силуэт высился на фоне неба статуей героя, сражающейся со стихиями, частью которых является он сам. Однако за первым годом миновал второй, а за ним третий и четвертый, колонна породы сравнялась с поверхностью террасы, где разрабатывали свои участки другие старатели, а самородка все не было. Старатели с соседних участков стали уходить, покалечившись

или просто отчаявшись найти золото, а его квадратный участок превратился в шахтный ствол, который он сантиметр за сантиметром киркой и лопатой уводил в глубь скалы, и возвышенные надежды, когда-то переполнявшие его, превратились в тяжелое, фанатичное ожидание невозможного.

Нельзя сказать, чтобы за годы терпеливого труда он не нашел ни одной песчинки золота. Тристан и Изабель поселились в хижине, позади которой тек зараженный ртутью ручеек — возможно, именно в этой лачуге жил рыжий человек. Каждый вечер Тристан приносил домой мешок самых многообещающих обломков породы, которые он добыл за день: самые светлые породы содержали кварц, самые блестящие — чешуйки пирита — этого «золота дураков», который часто сопутствует настоящему золоту. Он дробил эти камни молотком и пестиком со стальным наконечником, пока Изабель готовила на ужин черные бобы и рис. Сидя на корточках у ручейка, Тристан промывал куски породы, глядя, как более тяжелые частицы оседают на мелких ребрышках батеа, расходящихся из ее центра подобно лучам солнца в туманной дымке. Эта работа не переставала увлекать его, и он терпеливо ждал рядом с «болтливым колдуном-ручейком» появления «этих маленьких чертенят, драгоценных золотых мошек». Подобно тому, как огнепоклонники зачарованно глядят на костер, пытаясь прочесть свою судьбу, и ищут в языках пламени лицо или руку демона, так и Тристан день за днем вглядывался в круговерть воды в батеа, пока глаза его не начинали слезиться в темноте. Самая крупная крупинка золота, какую ему удалось добыть за все это время, была мельче спичечной головки, но даже этой жалкой находки оказалось достаточно, чтобы, купив в лавке немного копченой козлятины, разнообразить скудный стол и впервые за многие недели заняться любовью.

Тристан уставал как пес и обычно не мог удовлетворять Изабель. Все его помыслы были теперь связаны с поисками воображаемых очертаний частиц металла, скрытых в безумно упрямой кристаллической решетке скалы. Свет его обожания покинул тело его жены. Здесь, на склонах Серра-ду-Бурако, в ее кожу въелась тонкая пыль, подчеркивая легкие морщинки, появившиеся на лбу, в уголках рта и глаз, и даже у основания шеи, которая некогда была гладкой, как струя молока. Линии рта на ее молодом обезьяньем личике стали жестче, а вокруг глаз легли усталые тени. Когда она раздевалась и ложилась в постель, в темноте хижины по-прежнему вспыхивала нежная красота ее белого тела, и, хотя сердце Тристана начинало трепетать, как это случалось с ним, когда он видел над горами черную свинцовую тучу, закрывающую солнце, плоть его редко бывала готова к такому же трепету.

— Ты больше не любишь меня, — жаловалась Изабель.

— Люблю, — возразил он. — Моя любовь, как золото — она неизменна, хотя по временам прячется.

— Золото заменило тебе и мать, и жену. Ты работаешь даже по воскресеньям, а мы все равно голодаем. Даже когда тебе удастся найти золотые песчинки и крупинки, тебя в кооперативе обвешивают, а половину оставшихся денег ты пропиваешь по дороге домой. Изабель говорила правду — кашасу контрабандой привозили в горы и продавали по баснословным ценам, а Тристан, во всем желавший походить на других гаримпейру, то и дело пропускал стаканчик-другой, и в нем просыпались гены матери, которую он

раньше презирал. Когда спиртное оглушало мозг, то в темной, неприступной скале жизни отверзалась светлая пещера, где можно было укрыться. Его гордый и независимый дух, который заставил его на пляже вычленив эту куклолку из пустой породы других тел и назвать ее своей, — этот дух истлевал, как истлела от пота и знойного солнца его старая футболка, пока он сводил на нет каменную колонну на своем участке.

Изабель видела, как лицо мужа отзывается болью на ее слова, как тени поражения и трусости омрачают его гордое чело, и ей тоже становилось больно. Но Изабель решила, что если она хочет остаться равноправной личностью, то ей необходимо немного отдалиться от мужа. В первые месяцы семейной жизни она вела себя по-рабски, думая только о том, как ублажить мужа и его гордыню, пока он приспособливается к тяготам жизни на прииске, и, оставаясь одна в хижине, впадала в некое подобие сна, слыша только бормотание отравленного ручья за домом и тревожный шум пустынной, выжженной солнцем улицы с ее заправочной станцией, деловитым похоронным бюро, лавочкой кооператива, где по взвинченным ценам продавались самые необходимые вещи, и плодящимися, как грибы после дождя, маникюрными заведениями. Она решила было поискать работу, однако манеры светской девушки и отрывочные студенческие знания здесь никому не были нужны. У нее был только один товар, который все мужчины шумно нахваливали всякий раз, когда Изабель выходила из хижины на улицу под слепящие лучи солнца. Черные грозовые тучи, постоянно хотя и собирались над дальними горами, но крайне редко разражались дождем. Если же дождь все-таки начинался, то это был свирепый, оглушительный ливень, после которого по широкой немощеной улице неслись слепящие потоки, а вода в ручье поднималась до самого порога их дома.

Оставаясь в хижине, Изабель спала или читала все подряд, лишь бы окунуться в какой-нибудь другой мир. Инструмент и припасы доставляли с прибрежных фабрик завернутыми в обрывки старых газет и журналов, из которых можно было узнать о давних сплетнях и увидеть портреты актрис в вышедших из моды платьях, узнать скандальные подробности о популярных певцах или звездах футбола, которые давно уже остепенились или умерли от алкоголизма. И все же эти истории на разрозненных обрывках мятой и грязной бумаги, которые ей редко удавалось проследить до конца, существовали как бы вне времени, ибо в них варьировались пять-шесть основных событий человеческой жизни, которые постоянно возвращались к читателю подобно тому, как стрелы, унесенные ранеными животными, возвращаются к охотнику, когда тот находит их мертвыми. Любовь, беременность, измена, месть, разлука и смерть. В этих историях всегда присутствовала смерть.

У Изабель не осталось одежды. Два объемистых синих чемодана обмякли и опустели. В чемодане побольше лежали только украшенный камнями старомодный крест, который она стащила из квартиры дяди Донашиану, портсигар с монограммой и мохнатая игрушечная капибара, которую она очень любила в детстве. Она называла ее Азорой и часто прижимала к своей груди, когда ложилась спать. Теперь игрушка выцвела и заскоруждла от вездесущей кремниевой пыли, непрерывно висевшей над прииском. Неношеные платья, блузки

и облегающие джинсы она продала маникюршам, чтобы было на что купить рис, черные бобы и фаринью. В ее глазах Тристан стал машиной из мышц, которую она должна кормить, чтобы не остановилось их движение по дороге жизни.

К тому времени, когда продавать стало нечего, Изабель уже довольно близко сошлась с маникюршами, и те научили, как нужно зарабатывать деньги. Это оказалось на удивление просто — надо только научиться задвигать частицу самой себя подальше, на самую дальнюю полку сознания. Мелкая мужская драма подъема и падения казалась ей очень трогательной, хотя мужчины способны и убить тебя голыми руками, если ими завладеет злоба. Однако именно в ее женской власти усмирить их ярость, в ее власти принять в свое лоно все, что они могут предложить.

Когда Тристан пришел домой и обнаружил на столе не просто рис да бобы, а ветчину и шкворчащую на сковородке сочную пресноводную рыбку, когда на десерт ему подали ананас и питангу, он долго смотрел на Изабель — белки его глаз порозовели от карьерной пыли, как у того рыжего человека, — но так и не спросил, на какую золотую жилу она напала. Ей было противно его немое одобрение блуда, и одновременно она любила его еще больше за реализм и такт стоика. Романтизм сводит людей друг с другом, но только реализм помогает им жить вместе. Тристан бросил мешок с породой на земляной пол и не стал его обрабатывать. Он сидел за необычно богатым столом со сдержанным величием короля, который знает, что у него фальшивый скипетр, а потом весь вечер ходил вокруг нее с какой-то деликатной нежностью, будто плоть ее превратилась в хрупкое стекло. Засыпая рядом с ним на матрасе, набитом рисовой соломой, Изабель чувствовала, что Тристан касается ее спины и плеч так осторожно, словно она девственница.

Он стал ласковым импотентом. Изабель часто ощущала, как он рассматривает ее ночью при свете свечи, слышала медленные тягучие нотки в его голосе, когда он рассказывал о новостях прошедшего дня. Теперь ей чудилось, что их комнату населяет множество людей. А может, ее память оказалась переполненной образами других мужчин — их вскриками и ласками, их телами самых разных цветов, мышцами, волосами, запахами и оргазмами, затихавшими в ней? Не объясняя, откуда у нее деньги, она купила длинное цинковое корыто, и Тристан вечером натаскивал воды из ручейка, а Изабель разогревала ее на керосинке и, опустившись в длинное корыто, наполненное горячей водой, лежала в нем, пока вода не остывала. Вид ее собственного тела, казавшегося под водой оловянным, и легкое колыхание лобковых волосков умиротворяли ее память. Затем муж ее, серый от каменной пыли, снова подогревал воду в корыте, вылив туда ведро кипятка, и отмывал свою кожу до сверкающей черноты в испачканной Изабель воде. Постепенно это омовение стало для них ритуалом. Очистившись, они ложились в постель и, устало засыпая, слабо ласкали друг друга, и жесты их напоминали прощание тонущих в океане людей.

Изабель прежде ухитрялась не забеременеть даже в те дни, когда они непрерывно и яростно занимались любовью. Однако на второй год жизни на Серра-ду-Бурако она понесла, и казалось, будто вся хижина трепещет перед столь чудесным проявлением сил природы. Ее тошнило по утрам несколько недель кряду, потом она стала грузной и неповоротливой, живот ее распух, кожа на нем натянулась, как на барабане, и у Тристана голова шла кругом при виде этого неумолимого

раздвоения ее существа. Изабель родила (околоплодные воды сошли в полночь, а первый крик ребенка раздался в тот час, когда предрассветные сумерки выхватили из мрака очертания предметов в хижине) мальчика с маленькими синими сморщенными ладошками, похожими на только что раскрывшиеся цветы, а его половые органы напоминали нераспустившийся бутончик. Изабель робко предложила назвать мальчика Саломаном в честь своего отца, однако Тристан, пробудившийся от своей одержимости золотом, заявил, страстно жестикулируя, что отец ее стал ему смертным врагом. Поскольку у самого Тристана отца не было, он согласился с женой, когда она предложила назвать мальчика Азором в честь любимой плюшевой игрушки.

— Наш младенец, кажется, очень бледнокож, — заметил он однажды.

— Все младенцы рождаются такими, — сказала она. — Акушерка говорит, что меланин содержится у них в маленьком пузырьке у основания позвоночника, и позже он распространяется по всей коже. Однако шли дни, младенец прибавил в весе, питаясь материнским молоком, его ручки-ножки окрепли, а кожа так и не потемнела. Тристан держал на руках этот комочек плоти, смотрел на него — Азор гукал и протягивал пухленькие, похожие на звездочки растопыренные ладошки к знакомому черному лицу, — и пытался разглядеть в младенце хотя бы тень Африки, хотя бы капельку черной негритянской крови. И ничего не находил. Изабель показывала ему на приплюснутый носик, маленькие круглые ушки, прямоугольный и насупленный лобик и заявляла, что узнает в нем Тристана. Второй ребенок, девочка, родившаяся через четырнадцать месяцев после появления на свет Азора, была потемнее, однако кожа ее, как показалось Тристану, была по-индейски красной. Волосы у девочки, правда, были черные, но совершенно прямые. Тристан не возражал, когда Изабель назвала девочку Корделией — в честь своей матери, которую она едва помнила. То обстоятельство, что оба младенца Изабель выжили, как бы возносило ее над собственной матерью, которая умерла при вторых родах.

Новые обитатели хижины наполняли дом невинной возней и энергией. Они что-то канючили, кричали и бегали; их мучали колики и рвота, они хотели есть и какать, и у взрослых не оставалось времени на раздумье о том, по какому пути повела их судьба. Теперь природа объяснила им, зачем они сошлись. Кооператив маникюрщиц нашел для Изабель старушку, беззубую индианку тупи, отставшую от своего племени, чтобы она ухаживала за детьми, пока Изабель работает. Это существо, появлявшееся в полдень и исчезающее вечером неизвестно куда, звали Купехаки.

Самородок

Удары кирок, стук молотков при сборке лесов и опалубки; обрывки разговоров и песен, топот работников, гуськом шагающих по наклонным уступам к промысловым желобам и кучам пустой породы, громоздящимся на склонах Серра-ду-Бурако, второй горой, редкие всплески брани, когда где-нибудь вспыхивала драка или по террасам прокатывалась лавина, — непрекращающийся гул прииска стал для Тристана родным. Когда он находился вне этого перевернутого человеческого улья, даже рядом с Изабель и детьми, он чувствовал себя опустошенным, ущербным и виноватым, как будто изменял своей настоящей супруге, золотоносной жиле. Но стоило ему вернуться в

карьер, как его тут же наполняло ощущение того, что он обрел свою подлинную плоть. И это чувство не покидало его, пока он находился в своей шахте — аккуратной глубокой квадратной яме, которую он сам киркой и лопатой пробил в теле горы.

Участок слева от него пустовал около года, затем его арендовали братья Гонзага из штата Алагоас, и их бригада стала быстро уходить в глубину, догоняя одинокого Тристана; теперь и в его шахту начали проникать свет и свежий воздух. Но братья еще отставали метра на два, и Тристан мог укрыться на дне своего участка, где грохот прииска превращался в еле слышное бормотание, а небо сокращалось до аккуратного синего квадрата над головой, по которому облака проходили, как актеры в спектакле, если смотреть на сцену через дырочку в занавесе. В его уединении было что-то от могильного одиночества, и все же присутствовал в нем и элемент эротики. На дне ствола было теплее, чем наверху, словно он приближался к тайне, спрятанной на груди земли.

Несколько дней подряд Тристан разрабатывал извилистую жилу породы у левой стены, той самой красноватой породы, которая считается наиболее многообещающей, поскольку золото находят рядом с его ближайшими родственниками — медью и свинцом. Когда земля краснеет, говорили старатели, золото вот-вот должно обнажить себя во всей своей сверкающей наготе.

Кирка его мелодично дробила породу. Оба ее острия, отполированные ударами о камни, совершенно затупились: за три года работы он износил три таких кирки. Скорчившись, Тристан бил киркой вбок, поскольку жила красноватой породы поворачивала влево, прочь от него. Казалось, будто кирка его следует за изгибом женского тела, пробираясь в укромный уголок невидимого пока мохнатого лона. У Тристана начиналась даже эрекция, когда он работал на дне ствола. Сексуальная энергия, которая покидала его ночью с Изабель, вдруг накатывала на него в середине дня, пока он махал киркой. Иногда он даже мастурбировал под неподвижным взглядом голубого неба, всегда, правда, представляя себе тело жены, однако в фантазиях своих он бросался на нее не как муж, а как один из самых жестоких клиентов, он плевал на ее груди, когда кончал.

Косой удар кирки обнажил какую-то искорку, — по крайней мере, так показалось его измученным тьмой и каменной пылью глазам. Он опустился на колени и набросился на выемку в скале, расширяя блестящую породу. Облака — серые кулачки тумана — пронеслись над головой, а откуда-то сверху доносился гул огромного прииска. Когда солнце скользнуло в квадратик неба у него над головой и лучи его упали прямо на дно колодца, спертый воздух стал горячим и влажным, как вода в корыте Изабель. Зато стало лучше видно. Через час, обдирая пальцы в кровь, он отвалил от пробы целую грудку обломков, и блестящий кусочек стал приобретать объем. Ком породы отбрасывал красноватые блики, совсем не похожие на блеск серебристых чешуек пирита.

Еще через два часа, щурясь, словно заглядывая в пылающую топку, Тристан сумел освободить самородок от породы. Да, это был самородок, грубый, но шелковистый на ощупь кусок золота, этого воплощения богатства; он лежал в его ладони и был гораздо тяжелее камня такого же размера. В самородке было граммов восемьдесят веса, и в нем угадывались зачатки некой формы: нечто вроде животика, ноги, головы. Это был идол, священный идол десяти сантиметров в

длину и сантиметра четыре в ширину. Неровности на нем напоминали лунные кратеры. Тристан возбужденно переложил самородок из руки в руку. Он старался скрыть блеск золота даже от квадратика неба над головой. Если кто-нибудь из тысяч старателей узнает о самородке, Тристана прибьют на месте. Голова его гудела, дыхание стало быстрым и поверхностным, как у птицы. Опустившись на колени, Тристан возблагодарил Господа и Его духов. Рука, творящая судьбы людей, снова спустилась с небес и коснулась его судьбы.

Рабочая одежда старателей на Серра-ду-Бурако состояла из шорт, футболки, соломенной или пластиковой шапки от солнца и высоких баскетбольных кроссовок, чтобы удобнее было лазать по уступам и лестницам (новые ковбойские сапоги Тристана оказались непрактичными, так как были тесными, а подошвы их — скользкими; негодились и теннисные туфли с автобусной станции — из-за своей непрочности). Кроме того, старатели носили на поясе небольшие кошельки, в которых они копили крупички золота, пока их не соберется столько, чтобы их расплавить, обратить в деньги или положить в банк кооператива. Тристан боялся, как бы его самородок не оказался слишком заметным, поэтому он положил его в мешок с обломками руды и потопал домой, всем видом показывая, что собирается весь вечер дробить и промывать руду, а потом поесть рису с бобами, уложить детей и, приняв ванну после Изабель, заснуть тяжелым сном. Когда он на глазах у Изабель вытряхнул содержимое мешка на пол, ему на какое-то мимолетное мгновение почудилось, что самородок исчез: из-за своего веса он опустился на самое дно мешка и почти не отличался от других бесполезных обломков породы. Но вес выдает золото, и Тристан быстро нашел самородок. Несколько движений большого пальца стерли кремниевую пыль, явив миру сияющее злато.

— Мы богаты, — объявил Тристан жене. — Тебе больше не нужно уходить из дома к маникюрщицам. Пожалуй, мы даже сможем купить ферму в Паране или маленький домик у моря в Эспириту-Санту.

— Тогда нас сможет выследить отец, — напомнила Изабель.

— Ну и что? Мы подарили ему внуков. Разве за все эти годы я не показал себя верным мужем?

Изабель улыбнулась его наивности. Как она когда-то настаивала на любви к его матери, так и он в промежутках между приступами ненависти лелеял смутную надежду на то, что ее неумолимый папа сжалится над ними и заменит Тристану отца, которого он никогда не знал.

— Его не так-то просто умиротворить. Он считает, что исполняет родительский долг, причем не только от своего имени, но и от имени моей матери, и это делает его фанатиком. Он хочет, чтобы у меня было только самое лучшее. Для меня лучшее — это ты, но он не видит этого, потому что смотрит на все глазами белых господ, рабовладельцев и плантаторов.

— Какие скучные вещи ты говоришь, Изабелинья. Как будто наше прошлое еще не закончилось. Маникюрщицы сделали тебя циничной и злой. Это богохульство — принимать с подозрением дар Божий. Обними меня, годы жизни на прииске принесли свои плоды, одарив нас сокровищем.

Переполненный желанием обнять Изабель, Тристан дал подержать самородок Азору. Малыш уронил его на босую ногу и

разразился воплями, в унисон которым захныкала в колыбели — старом ящике для лопат, поставленном на кирпичи, чтобы змеи и огненные муравьи не могли туда забраться, — его сестренка. Изабель подхватила сопящего сына на руки и сказала Тристану: — Это были трудные годы, на долю нашей любви выпало немало испытаний, но мы были здесь в безопасности, потому что никто не знал, где мы скрываемся. Боюсь, как бы самородок не вытащил нас на свет Божий.

— Ты слишком разволновалась, дорогая, это все твоя буржуазная кровь. Завтра я отнесу самородок в кооператив. Если назначенная за него цена покажется мне слишком скромной, я найду вольных торговцев золотом, — их тут полно на прииске, и они предложат нам больше, поскольку не платят восемь процентов правительству и, сговорившись с индейцами, переправляют золото в Боливию. Подобные легенды были привычными для обитателей человеческого улья Серра-ду-Бурако: золото жило в мыслях старателей так же, как живет в виде мельчайших искорок и прожилок в огромных массивах скал.

Однако предчувствия Изабель оказались верными. Хотя Тристану и удалось незаметно пронести самородок в весовую контору, оттуда весть о великолепной находке мгновенно распространилась по прииску. Весовая, кооперативный банк и государственное налоговое управление занимали единственное бетонное здание посреди деревянного городка. Здание это, украшенное звездным флагом Бразилии, располагалось рядом с моргом, куда непрерывно поступали жертвы поножовщины, несчастных случаев, легочных болезней и бандитов, свирепствовавших на дорогах Серра-ду-Бурако. Оценщик, худой желтокожий человек в черном костюме и целлулоидном воротничке, говорил по-португальски, жеманно пришепетывая, как выходец из метрополии. Он прищелкнул языком, посмотрел на весы, объяснил, что точную стоимость можно будет назвать только после того, как самородок расплавят и очистят от примесей, и назвал предварительную цену: несколько сот тысяч новых крузейру.

— А главное, гошподин, цена его будет возрастать с падением кружейру, — говорил он.

Тристан с удивлением глянул на самородок. За ночь он изменился: из человекоподобного идола он превратился в бугристую картофелину, а лунные кратеры стали глазками. Сдав самородок на хранение в банк, он получил взамен квитанцию и ушел, подозревая, что никогда больше не увидит подаренный самим небом самородок.

Ночью лил дождь. Склоны и уступы карьера превратились под ногами в месиво. Приближаясь к своему участку, он увидел там группу людей. На брошенных участках вокруг его ствола вдруг засуетились старатели. Темные спины гнулись и выпрямлялись, деловито долбя породу, в которой, по слухам, скрывалось золото, а два брата Гонзага как раз вылезали из его шахты. Они закричали на Тристана раньше, чем он успел открыть рот.

— Ты, бандюга! — заорал брат постарше и пониже ростом, по имени Ахилл. — Мы посмотрели и все обмерили, ты влез на территорию нашего участка! Самородок наш!

— Браконьеров вроде тебя надо колесовать, чтобы другим гаримпейру неповадно было! — добавил Исмаил — он был младше, но выше ростом.

— Я не выходил за пределы моего участка, — стоял на своем

Тристан, хотя, по правде говоря, вспоминая сейчас лихорадочные удары киркой, он припомнил также и ощущение, будто лезет в чужой карман, и теперь спрашивал себя, не залез ли он и в самом деле на чужой участок. Точного ответа не было, поскольку даже сам он не мог бы сказать наверняка, из какого именно места выработки он получил самородок.

— Мы вызовем землемеров, — отчаянно грозил старший брат, — полицейских, адвокатов!

Они действительно подали на Тристана в суд, и процесс, растянувшийся на долгие месяцы, привлек внимание центральной прессы. Самородок снова и снова вынимали из банковского сейфа и фотографировали; хотя он и был меньше золотых булыжников, найденных в Австралии в 1851 году, но оказался самым большим из обнаруженных в горах Серра-ду-Бурако. Новая волна алчности всколыхнула Бразилию благодаря средствам печати. Корреспондентка «О Глобу» приехала с фоторепортером, и тот сфотографировал Тристана и Изабель в их хижине: Изабель купалась в оцинкованном корыте, погрузившись по самые плечи в пену и игриво выставив голую ногу, Тристан держал на руках пухлого бледного сынишку и краснокожую дочь, и глаза его, блестящие под благородным лбом черными пузырьками, с опаской глядели в объектив.

Снимал их увешанный фотоаппаратами коренастый мужчина средних лет в мятой одежде, который сыпал шуточками, чтобы заставить их улыбнуться, а интервью брала молодая прогрессивная женщина с худыми, как тростинка, ногами, обтянутыми сетчатыми чулками. Оба были настолько любезны, что Тристан и Изабель нарушили бы все законы провинциального гостеприимства, если бы они выставили их за дверь и отказались позировать перед камерой. Журналисты пробыли у них всего час и вели себя как добрые родственники из города, приехавшие в Гойас очаровать своих близких, и ничто не выдавало в них людей, которые выставят их обоих на всеобщее обозрение. Правда, у Изабель хватило сообразительности уклониться от ответов на вопросы о ее родителях, а Тристану его хитрость уличного мальчишки помогла солгать о своей семье, которой он стыдился, — но четкие черно-белые фотографии выдали их с головой. Из освещенной фотовспышкой хижины на читателей «О Глобу» глядели Тристан и Изабель, превратившиеся в одну из тех супружеских пар, чьи ошеломленные и напуганные лица по капризу фортуны оказываются вдруг в центре всеобщего внимания, как попавшаяся на крючок рыба. Один из заголовков гласил: «Старатели оспаривают права на огромный самородок». «Беглая парочка остановлена на пути к богатству», — сообщал другой. За первыми репортерами последовали другие, и Тристан любезно принимал всех. Это нашествие могло принести с собой беду, а могло и привести к прорыву вперед.

Однажды, вернувшись домой с работы в сумерках, он увидел восседающего на одном из двух стульев человека в сером костюме. Поначалу Тристан со стыдом подумал, что Изабель стала заниматься своим ремеслом дома, но потом, приглядевшись, узнал мужчину с печальным лицом, поседевшими висками и аккуратно подстриженными усиками — это был Сезар. Изабель испуганно жалась к плите, держа на руках толстенького сынишку, распущенные

волосы доходили ей до самой талии. Корделия лежала в колыбели, всхлипывая во сне.

— Друг мой, я опять нашел тебя, — сказал Сезар, небрежно вытаскивая вороненый револьвер, но, как будто из вежливости, не наводя его на Тристана. — Под крышей другой семьи — на этот раз, правда, твоей собственной. Прими мои сердечные поздравления.

— А где Виргилию? — спросил Тристан. — Он все еще играет правым нападающим за «Тирадентес» из Мооки?

Сезар устало улыбнулся.

— После того как ты от него улизнул, Виргилию... Его назначили на другую работу.

— Зачем ты преследуешь нас? Мы здесь никому не мешаем.

— Это не совсем так, друг мой. Несмотря на плачевное состояние дисциплины в нашей стране, Бразилия все же не лишена определенного порядка, традиций и устоев. Ты же, кстати, беспокоишь моего замечательного хозяина.

Сезар, воображавший себя состоявшим при дворе семьи Изабель, должно быть, давно уже болтал с ней в своей фальшивой отеческой манере, поскольку он явно не ко времени расслабился, выглядел томным и самовлюбленным, а револьвер его бесполезно смотрел в глинобитный пол. Он не ожидал, что Тристан швырнет в него изо всех своих сил двадцатипятикилограммовый мешок с рудой и попадет прямо в лицо, повалив его на пол вместе с хрупким деревянным стулом.

Изабель зашлась в крике, а Азор радостно засмеялся, когда Тристан одним прыжком оседлал Сезара и решительным ударом разбил тому голову самым большим куском руды, выпавшим из мешка. Grimаса боли на лице немолодого бандита разгладилась, и веки его с дрожью закрылись. Из седого виска сочилась кровь. Он стал слишком стар для своей работы.

— Нам нужно уходить, — сказал Тристан Изабель, отдавая ей пистолет Сезара. — Собери вещи и приготовь детей; я спрячу тело.

— Он еще жив, — возразила Изабель.

— Да, — подтвердил Тристан с тихой, как у Сезара, печалью в голосе, печалью человека, который держит все в своих руках. Тело оказалось грузным, тяжелее, чем три мешка породы, но Тристан, вновь ухватив верткую судьбу, ощутил прилив адреналина в крови и легко взвалил бандита на спину.

Уже наступила ночь, хотя луны и звезд пока не было видно.

Слышался стрекот цикад. В нескольких метрах выше по течению через ручеек вела цепочка скользких камней; на противоположной стороне в густых прибрежных зарослях начиналась извилистая тропинка, по которой в сгущающейся темноте можно было пройти незамеченным.

Гаримпейру и члены их семей ходили сюда справлять нужду; не раз ноги Тристана скользили по невидимому мягкому калу, и раздавленная корочка дерьма испускала вонь, долго преследовавшую его. Ветки и листья пальм влажно скользили по его коже, а блестящие круглые листья куста, названия которого он не знал, царапали его своими жесткими кромками. Когда Тристан оступался с тропинки, в кожу больно впивались колючки. Ему стало страшно: как бы Сезар не очнулся и не заставил его снова вступить с ним в драку.

Натренированные мышцы плеч заныли; заросли поредели, взошла луна, и ему было легче ориентироваться. Теперь Тристан смог разглядеть неподалеку похожий на замок освещенный силуэт — это

были рудные мельницы кооператива, в которых мешки руды, добытой старателями, размельчались и обрабатывались сначала амальгамой, а потом и цианидом, химическим путем извлекавшим атомы золота из породы. Тонна за тонной шлак ссыпался на противоположный склон Серра-ду-Бурако, образуя вторую гору, и именно по серым склонам отработанной породы, поглощенной и изверженной обогатительным оборудованием, Тристан нес потерявшего сознание Сезара. Никто не заглядывал сюда, в эти необитаемые овраги, созданные человеком. Даже змеи и огненные муравьи избегали их.

В отдаленной выемке, белесой от лунного света, Тристан бросил на землю свою ношу; Сезар застонал, не приходя в сознание, и даже стон его непостижимым образом передавал индивидуальные черты Сезара — чуть насмешливую отеческую личину, под которой тот прятал хватку бандита. Взявшись за седую шевелюру, Тристан мягко повернул его крупную, благородную голову, и на шее под полукруглой тенью мочки уха в лунном свете обозначилась выпуклая яремная вена. Тристан знал, что под этой веной проходит ее более яркая и красная сестра — сонная артерия. Вынув из кармашка шорт свою бритву, свой верный «Бриллиант», он разрезал вену поперек на всю глубину лезвия, а потом, когда поток крови показался ему недостаточно сильным, добавил еще один вертикальный разрез, и только спустя много времени понял, что расписался в своем преступлении буквой «Т». Он думал закопать тело в сыпучие отработанные породы, но ему показалось отвратительным и неприличным закапывать живого еще Сезара, — его сердце билось, и кровь толчками струилась из раны. Встав на четвереньки, Тристан лихорадочными собачьими движениями засыпал серый костюм серой же пылью отработанной породы, оставив голову Сезара снаружи, и она торчала на склоне, похожая на булыжник или на голову разбитой прекрасной статуи.

Мату Гросу

Вернувшись в хижину, Тристан, измученный угрызениями совести и тяжелой работой, сразу ощутил, что отдыхать некогда, необходимо действовать. Семья его была готова отправиться в путь, а те немногие пожитки, которые можно было унести с собой, уже были увязаны в узлы. Оранжевый рюкзак набили одеждой, а кухонную утварь завернули в одеяло и москитные сетки. Даже взгляд грудной дочери казался серьезным в трепещущем свете керосиновой лампы, — она, словно чуя опасность, не издавала ни звука. Старая индианка-тупи, Купехаки, каким-то образом догадавшись, что хозяева куда-то направляются, явилась в дом; они пытались довольно грубо запретить ей идти с ними, но она их словно не слышала. Купехаки держалась на расстоянии вытянутой руки от Изабель и словно повторяла ее жесты: ходила за нею по комнате и даже сочувственно сникала, когда у Изабель опускались руки от отчаяния и страха. Она привязалась к ним, и от нее нельзя было отделаться. Старая индианка принесла с собой длинную цилиндрическую корзину, которую носят за спиной и поддерживают широкой головной повязкой, и они, решив, что Купехаки может оказаться полезной, сошлись на том, что старуха попутешествует с ними некоторое время.

Переправившись гуськом через отравленный стопами ручей, маленький отряд двинулся по тропе, ведущей от рудных мельниц и отвалов шлака в долину, где обитали только разбойники, нападавшие на торговцев золотом и обозы с припасами для старателей.

Механический гул, доносившийся с горы далеко за полночь, утих. Уже

не были слышны и городские шумы, если не считать вой собак, громкого хохота и ругани. Когда глаза Тристана привыкли к темноте, ему стало казаться, что тропа, становившаяся то уже, то шире в рваных, черных тенях растительности, засияла под ногами голубым светом. В этом неверном свете и кровь Сезара, которой он перепачкался, стала багровой. Изабель несла спящую Корделию на полосатой перевязи, и лишенная волос головка дочери болталась у нее на груди. Азора Тристан нес на плечах, и ручки ребенка слабо, но цепко держались за жесткие, пропитанные каменной пылью волосы отца. Когда Тристан почувствовал, что ручки сына ослабели и ребенок уснул, он взял мальчика на руки, удивившись тому, каким тяжелым он стал за неполные два года. Кроме запасной одежды, в рюкзаке лежали револьвер Сезара, заряженный шестью патронами, ковбойские сапоги и поясной кошелек с парой крупниц золота; тяжелые и затупившиеся инструменты Тристан без сожаления оставил в хижине. В этом мире приходится менять кожу, чтобы сохранить себе жизнь.

Купехаки, сгибаясь под тяжестью корзины, несла несколько кастрюль, жестяную коробку со спичками, крючки и лески для рыбной ловли, португальский крест, украшенный драгоценными камнями, трехдневный запас сухого молока, сушеные бобы, шарк[13], листья матэ и кисловатые черствые лепешки из молотой маниоки. Они с Изабель по очереди несли на головах объемистые, но нетяжелые узлы с москитными сетками и одеялами, завернутыми в старую бычью шкуру, которую можно было класть на землю для защиты от муравьев и ядовитых земляных пауков.

В первую ночь, перепуганные, они спали на уступе не далее трех километров от прииска. Взрослые по очереди дежурили у костра, стрелявшего искрами в окружающей темноте, где трещали ветками и шумели неизвестные звери или духи. Казалось, даже у деревьев есть голоса и они хищно тянут к ним ветви. Всю ночь отовсюду доносились стоны — это смерть прокладывала себе путь в темноте. Тем не менее предрассветная дымка застала наших бездомных путешественников целыми и невредимыми, они протерли глаза, прочистили горло и взвалили на плечи тяжелое бремя выживания. Избегая хоженных троп, они двигались по усыпанным камнями ущельям гор Дорадо, каждый день отправляясь на закат в сторону бесконечного холмистого плато Мату Гросу. Небо над головами стало гигантским, словно Бог вздохнул с облегчением и отошел от напряженного труда Созидания, удовлетворившись спутанными колючками зарослями, где росли кактусы и приземистые кустарники вперемежку с высокой травой и редкими перелесками. Самое причудливое дерево Мату Гросу — бразильская сосна, имеющая форму перевернутого конуса, в котором каждая верхняя ветка тянется дальше нижней, пока дерево не образует правильную пирамиду, стоящую на острие. Купехаки показала им, как находить в гнилой коре таких гигантов сочных белых червей коро: если огонь разводить не с руки, их можно есть живыми. Когда путешественники преодолели брезгливость, они пришли к выводу, что черви по вкусу напоминают кокосовое масло.

Именно Купехаки научила их за эти дни и недели путешествия на запад ловить летучих мышей, сцинков, жаб, пауков, личинок насекомых, кузнечиков, показала, как «доить» дерево бомбакс, какие ягоды рвать, а каких остерегаться, какие семена и орехи съедобны и где искать мед мелких, лишенных жал пчел по прозвищу «глазолизы»: они сатанеют от вкуса человеческого пота и яростно лезут в ноздри, в

глаза и во влажные уголки рта. Они даже хуже кровососущих мух и ос марибонду, потому что скорее умрут, наслаждаясь выделениями человеческой кожи, чем дадут себя отогнать.

На склонах Серра-ду-Бурако все было перекопано, скалы своротила и размолотила человеческая алчность. Здесь, в бесконечных однообразных зарослях кустарника на просторах пятнистой саванны, где сухие склоны шападана перемежаются журчащими коричневыми реками, человек возвращался в подобающее ему состояние постоянно голодной белковой массы, бредящей охотой. Купехаки показала им, как вырезать бритвой Тристана серых паразитов, которые совершенно незаметно въедались в ноги, как раздеться в одно мгновение, если заденешь совершенно безобидный с виду листок, а с него на тебя посыплется дождь мелких оранжевых клещей, которые разбегаются по телу под одеждой, как языки пламени по сухой траве; если их сразу не стряхнуть, через минуту они уже заберутся под кожу. Купехаки научила Тристана собирать сухой хворост в кустарнике, а позже, когда кончились спички, продемонстрировала, как добывать огонь при помощи двух палочек и мотка сухой травы; Изабель она научила строить укрытие из зеленых пальмовых листьев, которые создавали хоть какую-то иллюзию крыши. Когда во мраке, совсем рядом с маленьким костром, раздавался рык ягуара, Купехаки успокаивала Азора сказками об озорном боге-ягуаре. Она как бы отдаляла границу, за которой становилось опасно, воспринимая диких зверей как человеческих братьев и сестер. Если обезьяны-ревуны вопили у них над головами и бомбардировали их калом, она толковала это как веселое приветствие; укусы вампиров — маленьких кровососущих летучих мышей, которые ночью присасываются к голой руке спящего, — она воспринимала как подобие очищающего кровь поцелуя. Днем она, возбужденно жестикулируя, знакомила их со множеством птиц: зелеными попугаями, белыми ибисами и ржанками, розовыми цаплями, аистами-ябиру ростом с человека, желтогрудыми райскими птицами бем-те-ви и красивыми трупиалами, которые гнездились на макушках величественных пальм уауасу среди фиолетовых орхидей. Вдалеке, на зыбких, как мираж, болотистых озерах, в горячем знойном воздухе трепетали пятна и островки розовых фламинго и белых цапель. Услышав человеческие голоса, гигантские птицы взлетали с мягким хлопаньем, и воздух возбужденно гудел, когда они стаей проносились над головой.

Тристан боялся тратить патроны. Однажды он выстрелил в цаплю влет и промахнулся; в другой раз он пристрелил неуклюжего муравьеда, но его жирное мясо вызвало у них рвоту; в третий раз он ранил оленя, и тот, хромя на трех ногах, ушел в просторы саванны, где наверняка и подох, став жертвой прожорливых диких свиней, белогубых пекари. Оставшиеся три пули он решил сохранить для врагов, имеющих человеческий облик, если такие вдруг появятся. Купехаки показывала им просеки со следами пепла на кофейного цвета земле, где индейцы пару лет выращивали маниоку, маис и табак и оставили несколько тыкв на память о своем пребывании. Люди с более светлой кожей — рожденные индианками от португальцев мамелюки — оставляли после себя более заметные и неряшливые следы в виде заросших холмов и туннелей, заброшенных шахт и гниющих хижин мертвых городов. Иногда руинам было по несколько сот лет, и в них едва угадывались следы человеческой деятельности: вот эти камни на земле когда-то были стеной, яма в земле — погребом. Люди алчно

проносились по этим просторам, но не находили ничего, что могло бы заставить их пустить тут корни. Многие из них умерли, оставив в память о себе под гигантским небом лишь холмики могил, помеченные пирамидами камней и деревянными крестами, от которых термиты оставили только хрупкие, как бумага, изъеденные каркасы. Если на кресте было что-то написано, то термиты объедали древесину вокруг краски, и на земле оставались лишь расплывчатые цветные пятна. Человеческое имя недолго живет на Мату Гросу.

Настроение наших путешественников, даже когда они шли по равнине, почти умирая с голоду, оставалось добрым. Они надеялись, что в один прекрасный день на горизонте появится городок или река, которая приведет их туда, где труд их будет приносить пользу, сами они вплетутся в ткань человеческого сообщества. Они шли вперед, сгибаясь под своей ношей, и им казалось, будто они путешествуют назад во времени, удаляясь от бед, причиненных перенаселенной стране нынешним веком, и приближаясь к вольным просторам прошлого, где пара рабочих рук все еще в цене. Изабель помнила по картам, которые показывали монахини в школе, что на западе Бразилия кончается: она переходит в Боливию или в Перу. Там стоят горы со снежными вершинами, индейцы носят котелки и одеяла на плечах, а революционеры-маоисты могут захватить их в плен и обратить в своих солдат, чтобы сражаться с господами в серебристо-серых костюмах. Пока же продвижение по однообразным зарослям проходило в ежедневных поисках пищи и борьбе с демонами болезней, осаждавшими кровь. Азор, который в начале пути был толстым, как гусеница, стал худющим, ноги и руки его истончились; он привык к часовым переходам и не жаловался, хотя мордашка его, как казалось Изабель, усохла, превратившись в сморщенное лицо старика с огромными глазами. Корделия еще сосала грудь и выглядела лучше, хотя молоко у Изабель заканчивалось. Сама Изабель утратила женственную округлость форм, тело ее стало сухощавым, как у Купехаки, хотя кожа на руках и не висела, как у той, сморщенными складками, похожими на дряблое горло игуаны. Тонкие ребра Изабель выделялись на коже, будто прожилки на пальмовом листе, а сухие икры стали бугриться мышцами, как у Тристана. Кожа ее, загорев, приобрела блестящий коричневый оттенок, а волосы выцвели; Тристана же словно обсыпали пылью, его черные плечи будто полиняли, выгорел на солнце и некогда яркий оранжевый рюкзак, который стал походить на бледно-розовый лоскут знамени, что маячило перед остальными путешественниками в просветах зарослей трав, кустарников, деревьев, сменяющих друг друга в бесконечно повторяющихся пейзажах Мату Гросу. Щеки и руки у Тристана покрылись бледными пятнами, похожими на призрачную топографическую карту, а в упругой шевелюре появилось несколько седых кудряшек. Он перестал бриться, чтобы сохранить бритву острой, и поросль на его лице оказалась тоньше, мягче и нежнее волос на голове; борода выросла сантиметра на три и больше не удлинялась. Изабель как-то по-новому полюбила мужа, изменилась, словно любовь ее сначала вознеслась высоко в небо огромной петлей, и затем, неутомимо облетев просторы земли и неба, вернулась, захлестнув ее собою. Любовь эта пробуждалась в Изабель при каждом взгляде на лицо Тристана с неожиданного ракурса: глаза его, скажем, если смотреть сверху, прятались под черным серьезным лбом, как окна в ночи, а линия подбородка сливалась с выемкой на плече; любовь

охватывала ее, когда она видела, как тело мужа сгибается и разгибается, добывая огонь, и бугорки позвонков кажутся сверкающими бурунами в стремительном потоке. Иногда, когда он садился на корточки у огня, отрывая от земли бледные ступни, и осматривал высохшее терпеливое тельце Азора в поисках клещей, вшей, пиявок или глистов, или когда он приносил к ней среди ночи Корделию, чтобы она покормила дочь иссякающей грудью, — ведь даже пустые соски успокаивают младенцев, Изабель вдруг вскрикивала от какой-то странной радости, от счастья, что он выбрал именно ее, что именно к ней он подошел на пляже под слепящими лучами солнца, запечатлев себя в ее глазах, и подарил ей смысл ее жизни. Он выбрал ее, выбрал и принял; он даже этих детей принимал как своих. Она незаметно наблюдала за ним, пока он расхаживал по биваку, и ей казалось, будто он ступает по ее внутренностям, — так влажно, страшно и болезненно переваливались они в ней, напрягаясь в экстазе. А потом, дождавшись, пока все наконец уgomонятся — Азор и Корделия спали с Купехаки, завернувшись в одеяла и москитную сетку, — она подползала к Тристану по песчаной земле, чтобы напомнить ему об их любви, и его початок вырастал с услужливой быстротой. Его импотенция времен работы на прииске прошла, однако сила его, которая прежде была плодом их близости и проросла лишь в ее лоне, как семя во влажной полости, теперь накатывала на нее издали надменными раскатами грома из тучи, что не желает пролиться дождем. Здесь, в необитаемой саванне, Тристан был единственным мужчиной, и потому стал обманчиво огромным: если пуговицу поднести к глазу, она может закрыть собою луну.

— Тристан, — нежно спросила она однажды ночью, — что будет, если мы умрем здесь?

Он пожал сухими мускулистыми плечами.

— Нас склюют стервятники, и твой отец уже никогда не сможет нас найти.

— Ты думаешь, он по-прежнему преследует нас?

— Я убил его подручного и теперь как никогда остро ощущаю, что он идет за нами буквально по пятам.

— Преследует нас не мой отец, — оправдываясь, сказала она. — Нас преследует система.

— Милая Изабель, мне не следовало вторгаться в твою жизнь. Ты бы уже наверняка стала пухленькой светской дамочкой и жила в Рио на Авенида-Виэйра-Соту.

Она приложила пальцы к его губам.

— Ты моя судьба, ты — все, чего я когда-либо желала. Я мечтала о тебе, и ты появился. Я по-настоящему счастлива, Тристан.

По утрам они поднимались, бросали хворост на горячие угли и разогревали остатки ужина; потом бродили вокруг костра в поисках пищи, стараясь собрать столько съестных припасов, чтобы их хватило на целый день пути, — и шли дальше. Если неподалеку оказывался ручей или не слишком соленое озерко, они торопливо окунались в воду, выбираясь на берег раньше, чем их плеск привлечет паразитов и ядовитых рыб. Выхватывая из прохладной с ночи воды купающихся детей, Изабель глядела вверх, и ей казалось, будто небесный купол вращается; в этом пейзаже и высоком небе было что-то странное: бесцветные облака недвижно маячили в вышине или вдруг сгущались, собираясь в тяжелые, несущиеся на восток тучи; черные, но прозрачные, они неслись к побережью, в далекий двадцатый век, и в

этом застывшем движении была какая-то ласковая жестокость, полнота пустоты, высокомерие высоко вознесшейся материи, которая тем не менее окутывала Изабель нежностью, как белок яйца окутывает желток с зародышем.

Уже который день они двигались вперед, казалось, будто они идут в колесе, как белка, и колесо это, не в силах справиться с пространством, вращало назад ось времени. В воздухе плоскогорья чувствовался тонкий, острый аромат дыма, и Изабель подумалось, что именно такой запах Бразилии должен был доноситься до кораблей Кабрала, когда тот впервые подошел к ее берегам апрельским днем 1500 года — это был запах костров, на которых тупи готовили пищу, и аромат красного дерева, что стало поначалу единственным сокровищем сокрытых просторов. Изабель словно возвращалась домой, и повторяющиеся ритмы ежедневных путешествий убаюкивали ее — она просыпалась в объятиях Тристана и замечала, что они испачкались, так как забрались в теплую золу, пытаюсь согреться; затем они купались в жемчужном, добром утреннем свете, ходили кругами в поисках ягод, орехов, диких ананасов, мелких животных, которых можно оглушить палкой или камнем — ящериц, кротов, белок с ярко-рыжими животиками и пахучими хвостами, — и поиски эти никогда не оставляли их голодными, и в то же время не были настолько удачными, чтобы все путешественники наелись досыта; они вдыхали голод, как наркотический газ, и у них кружились головы. Потом они снова увязывали узлы, жизнерадостно ввали Азору, будто их путешествие скоро закончится, и, вытянувшись друг за другом в цепочку, шли вперед по коричневой равнине к очередной цели на западе: вон к той далекой рожице темно-зеленых араукарий, к той розовой скале или к зубатому хребту на сине-коричневом горизонте. А вечером разбивали лагерь, строили себе новый шалаш в трепещущем, красном свете горевшего, как уголек, заходящего солнца и начинали осматриваться, собирать дрова, разжигать костер, — и он сыпал искрами навстречу первым звездам, как слабое дитя уснувшего солнца.

Изабель было уютно и покойно в эти повторяющиеся дни, но Купехаки замечала все более свежие следы людей в саванне. В неглубокой лощине, которую они обходили стороной, паслись — нет, не олени, а лошади, громадные услужливые звери с дикими глазами, которых европейские захватчики привезли на американский континент.

— Гуайкуру, — сказала старая индианка, но ничто не могло заставить ее объяснить им значение этого слова. Купехаки только пучила глаза и обнажала зубы, которые ей спилили до основания еще в детстве. Тревога индианки передавалось детям, они начинали хныкать, жаловаться, просить о чем-то невыполнимом, что, в свою очередь, раздражало усталых взрослых.

Так они достигли коричневой реки, слишком широкой и быстрой, чтобы перейти ее вброд. Посредине реки из воды торчали связанные крест-накрест гнилые жерди — все, что осталось от примитивного индейского моста. Они решили, что завтра построят плот, связав лианами бальсовые бревна, а пока устроились на ночь на самой высокой из песчаных террас, намытых водой, рядом с густыми зарослями приземистых пальм уауасу и более высоких и стройных пальм каранда.

Нападение

Беспокойное журчание и плеск воды, скрежещущее кваканье лягушек не давали Изабель как следует уснуть, поэтому появление в мутном свете луны и гаснущего костра рослых обнаженных людей, разрисованных, как карточные фигуры, она поначалу приняла за продолжение сна. Люди говорили между собой на каком-то стремительном гортанном наречии, который даже в момент дерзкого нападения не повышал голоса. Они, должно быть, давно следили за путешественниками, поскольку действия их были продуманными. Две тени ухватили Купехаки и подняли старую женщину с земли; пока одна из теней схватила ее в руки, другая, вцепившись в волосы старухи, перерезала ей горло белым костяным ножом и, дернув, оторвала голову индианки; обезглавленное тело упало на землю, хлеща фонтаном крови, похожим на черный плюмаж. Крик ужаса застрял у Изабель в горле. Ей показалось (и потом снилось в кошмарах), будто отрезанная голова спокойно смотрела на нее из-под тяжелых век, словно говоря: я сделала все, что могла, и теперь прошу хозяйку отпустить меня с миром.

Две другие тени схватили и охапку детей, спящих в коконах из москитных сеток, и, щебеча, исчезли за опушкой пальмовой рощи. Азор пытался закричать, но ему, наверное, зажали рот рукой. Еще одна тень, перевернув корзину Купехаки, копалась в сокровищах, высыпавшихся на песчаную землю у безголового тела.

Тристан, проснувшись, вскочил на ноги, и это остановило индейца, который направлялся к ним. Возня вокруг костра раздула огонь, и они увидели друг друга в свете пламени. Индеец был обнажен, если не считать конический чехол на половом члене и браслеты из зубов и раковин на запястьях и лодыжках. Растительность на его лице была полностью выщипана, и его лишенные ресниц красные глаза казались зияющими ранами; щеки и лоб покрывал сложный узор татуировки, а из отверстия под нижней губой тремя бивнями торчали осколки кости. Его короткие волосы были смазаны чем-то вроде воска; индеец оскалился, показав кривые черные зубы. Он ощерил зубы потому, что в неверном свете костра увидел мужчину чернее, а женщину белее всех когда-либо виденных им людей, и зрелище это внушило ему священный ужас. В руках у него была длинная бамбуковая палка с заостренным и почти наверняка отравленным концом, но на какое-то мгновение он замер, как рыбак, который прикидывает, каким углом должна войти острога в обманчивую воду. Изабель почувствовала резкий смолистый запах его шевелюры и заметила, что там, где у индейца должны были быть уши, торчали птичьи крылья; и тут Тристан выстрелил в него из револьвера Сезара.

Нападающий бросил пику и, испустив изумленный гортанный крик, схватился за бок, будто его укусила пчела. Он попытался было бежать, но ноги его двигались асимметрично, поэтому он пробежал по кругу, а потом упал в его центре, суча ногами по песку. Другие индейцы с бесстыдной трусостью дикарей исчезли при звуке выстрела. Резкий хлопок ударил по ушам Изабель, и она наконец проснулась. Когда она успела вскочить на ноги и оказаться рядом с Тристаном? Она не помнила. Смолистый запах волос индейца вызвал в памяти скрипичные уроки, которые дядя Донашиану однажды организовал для нее. Как и остальные уроки — рисования, танцев и вышивки — они прошли впустую; Изабель обладала только одним талантом — любить.

Тристан подошел к индейцу, все еще дергавшему ногами, направил на него пистолет, но стрелять не стал. Вместо этого он вытащил из шорт лезвие бритвы и, опустившись на корточки, быстро что-то сделал, повернувшись к ней спиной. Когда он поднялся, лицо Изабель покрылось испариной при виде убийственного бесчувствия на его лице. Какое это странное и потное ощущение — остаться в живых. — Я должен сохранить два патрона. Они понадобятся нам с тобой, если они вернутся, — объяснил он.

Мысль о смерти от его руки показалась ей настолько прекрасной и справедливой, что у Изабель свело промежность. Затем сияющий утес ее фантазий залили горькие и тяжелые волны реальности. Тело Купехаки лежало у ее ног и воняло калом, извергнутым в предсмертных судорогах.

— Они украли наших детей! — закричала Изабель; «наших» было ложью.

— У индейцев есть лошади, — сказал Тристан. — Прислушайся, это удаляющийся топот копыт. Мы не сможем догнать их пешком. — Он задыхался, его высокий лоб перерезали морщины. Казалось, он сердится на нее.

— Ах, мои маленькие, — проговорила Изабель и лишилась чувств. Песчаная земля поднялась ей навстречу, подобно тому как пышная перина детской кровати всплывала навстречу ее телу, когда задолго до смерти матери, до того как отец превратился в уязвленное чудовище, он уносил спящую Изабель на руках из какого-нибудь восхитительного места, куда они ходили вместе, и когда ее, будто в ложке, переносили из одной чаши сновидений в другую, она на какое-то мгновение просыпалась и видела его сильные руки, белые простыни и откинутое мохнатое одеяльце.

Одни

Когда к Изабель вернулось сознание, коричневая поверхность реки уже искрилась в утреннем свете, а Тристан сидел, уставившись в пламя разожженного им костра. Она сходила в кусты справить нужду и по сломанным веткам и бороздкам на песке поняла, куда он оттащил тело Купехаки. Муравьи и стервятники скоро превратят тело верной тупи в пыль. У Изабель пересохло во рту, у нее свело пустой желудок.

— Что нам делать? — спросила она у Тристана.

— Жить, сколько сможем, — ответил он. — Нужно переправиться через реку. Мы должны все время двигаться на запад. Возвращаться нам некуда — только горе и опасности.

— А как же Азор и Корделия?.. — У Изабель потекли слезы, когда она представила себе их маленькие послушные ручки и ножки и доверчивые, широко раскрытые глаза, похожие на чаши, ожидающие, что их наполнят. Даже когда голод и усталость обрушились на их незащитные, хрупкие тельца, они с верой глядели на свою мать.

— У нас нет ни сил, — сказал Тристан, — ни возможности вернуть их. Даже если мы могли бы сделать это, как нам защитить их от опасностей дикой природы? Милая Изабель, может, для них лучше остаться с теми, кто знает, как здесь выжить. Если бы дикари хотели убить их, они бы сделали это сразу же.

Бессильная ярость Изабель выплеснулась наружу. Тристан казался таким самодовольным, когда бесстрастно и разумно констатировал их отчаянное положение.

— Зачем нам вообще жить? — спросила она. — Что этому миру, — она сделала широкий жест, словно обводила рукой всю

землю, — умрем ли мы сейчас или чуть позже? Зачем мучиться, Тристан?

Он с опаской поглядел на нее из-под полуприкрытых век, чуть склонив голову набок, так же, как он глядел на нее в бытность свою пляжным воришкой, хотя в те годы на лице его не было морщин.

— Грех даже спрашивать об этом, — сказал он. — Наш долг прост — мы обязаны жить.

— Но там, — закричала она, на этот раз указывая на небо, — никого нет, кого волнует, исполним ли мы наш долг? Бога нет, а наши жизни — досадная случайность! Мы рождаемся в грязи и муках, а потом, движимые муками, голодом, страстью и страхом, живем без всякой цели!

Лицо его стало серьезным, и он заговорил мягче, как будто хотел смягчить ее оскорбительно громко звучащий в полной тишине голос.

— Ты разочаровываешь меня, Изабель, — начал он. — Почему же мир так замысловато устроен, если он лишен смысла? Подумай только, сколько труда требует создание мельчайшего насекомого или травинки. Ты говоришь, что любишь меня; тогда ты должна любить жизнь.

Жизнь — это дар, и мы должны за него платить. Я верю в духов, — заявил он, — и в судьбу. Ты была моей судьбой, а я — твоей. Если мы умрем сейчас, то никогда не достигнем того, что нам предначертано свыше. Может, нам суждено спасти наших детей, а может, и нет. Я знаю лишь одно, Изабель: жизнь свела нас с тобой не для того, чтобы питать своими детьми ненасытную утробу этого мира, а затем, чтобы мы доказали, что нет ничего сильнее любви, давали миру пример любви. Я чувствовал это даже на автомобильном заводе, когда мне казалось, что я никогда больше не увижу тебя.

И действительно, подчинившись его приговору и перенося вместе с ним муки голода во все последующие недели блужданий по саванне, Изабель как никогда ощущала силу этой любви. Никогда прежде потребность заниматься с ним любовью не была так велика, — даже в том отеле в далеком Сан-Паулу. В их отчаянном одиночестве секс одновременно подтверждал ее право на обладание Тристаном, и, умиротворяя Тристана, секс напоминал ей о том, что она еще жива под этим небом, секс стал ее мольбой о прощении и извращенным триумфом обессиленной плоти. Поскольку еды у них было мало, секс стал заменять им пищу. Они потеряли дорогу, и плоть стала их общей целью, их единственным обиталищем. Они не умели столь же сноровисто, как это делала Купехаки, искать пропитание, поэтому несколько раз по ошибке ели ядовитые ягоды и варили ядовитые корни. Лихорадка и галлюцинации едва не погубили их; понос вычистил их внутренности до состояния полированного мрамора. Изабель вся высохла, ее постоянно тошнило, а лихорадка трясла так, что стучали зубы, и все же ей хотелось поиграть с его початком, провести кончиком языка по набухшим венам и слизнуть маленькую прозрачную капельку нектара с узенькой прорези члена, прежде чем ощутить его у себя между ног и провести руками по черной спине Тристана, похожей на узловатую доску. Если бы силы покинули в момент совокупления, то жизнь ее обрела бы форму цветка, чья нежная сердцевина открыта свету жизни.

И Тристан, поражаясь ее похоти, столь же роскошной и экстравагантной, как орхидея, позволяя ей возбуждать себя, даже когда жизненной энергии у него стало так мало, что собственный скелет стал казаться ему грудой камней, которую приходится нести по колючим

зарослям в тонком мешке собственной кожи и, уже теряя сознание, бросать этот мешок на землю на месте ночевки. Он был слишком слаб и не мог подняться с земли, видел словно во сне, как обнаженная Изабель оседлывала его бедра и опускалась на его стержень. Несмотря на страшную худобу, ее бедра, живот и покрытый прозрачной порослью лобок сохраняли последние округлые следы женственности. Ее лоно обхватывало его, и сначала сухо и болезненно, а затем влажно и липко опускалось до самой черной пены паха и поднималось, снова опускалось и поднималось, и высохшие груди Изабель пойманными птицами бились о тонкие, как прожилки пальмового листа, ребра. Поначалу голод — это боль, потом он превращается в рычащего оскаленного зверя, а затем становится наркотиком и заволакивает безвольное сознание привычной прозрачной дымкой. Даже обезьяны уважительно отступали прочь и прятались в зеленых зарослях, пропуская через рощу два привидения. Влажный песок хранил следы тапиров и диких свиней, но они ни разу не видели этих животных, да и слишком были слабы, чтобы поймать их. Знание ботаники позволяло Изабель распознавать пальмы: бурити — с жесткими веерообразными листьями, бакаба с длинными, изгибающимися, словно взлохмаченными, листьями; приземистую накури, колючую стройную боритана, которая предпочитает влажные земли, и даже высоченную пальму аккаши с прямым, как копье, стволом; однако только от этих деревьев в то время года не было ни плодов, ни мягкой сердцевины ствола. Кишащая вокруг жизнь дразнила и мучила, как веселенькие обои в тюремной камере. Однажды они попали в окаменелый лес, где поломанные деревья стояли и лежали на земле разбитыми мшисто-зелеными, грязно-розовыми, белыми и небесно-голубыми колоннами поруганного храма. Какой бог умер здесь, несмотря на ревностное поклонение?

Когда Тристан и Изабель почти теряли сознание, над ними сверкающими плодами нависали колибри с изумрудными спинками, желтыми грудками и мерцающими крылышками; Тристан и Изабель научились быстрым движением ловить маленьких птичек, а потом, зажав лихорадочно бьющиеся крылышки в кулаке, большим пальцем ломать им шеи. После долгого и нудного ощипывания шести-семи птичек их можно было насадить на тоненькие, как спицы, палочки и зажарить на костре, получив несколько кусков твердого, горько-сладкого мяса. Иногда Тристан и Изабель оказывались среди деревьев кешью со зрелыми орехами — остатков плантации, посаженной появившимися здесь и исчезнувшими земледельцами, — и тогда они жадно ели все, до чего могли дотянуться, пожирая орехи прямо со скорлупой. Так, голодая от одного неожиданного пира до другого, наша парочка брела вперед по дремучему лесу, в котором трудно было увидеть заходящее солнце, а дневной свет походил на ледяные сосульки, искрящиеся где-то на верхних ветках деревьев.

Они начали свое путешествие, переплыв через коричневую реку у того страшного лагеря. Взяв по толстому стволу упавшей пальмы, чтобы легче было плыть, они вошли в воду, но гнилые бревна впитывали воду, как губка, и вскоре пошли ко дну, быстро затонули; последнюю сотню метров Тристану пришлось тащить Изабель на себе, и ее белая рука вцепилась в блестящее плечо Тристана, как пиявка в бок осетра. По счастью, здешним пираньям, пощипавшим их за ноги, не был ведом вкус человечины, и потому они покусывали кожу не до крови, которая приводит их в ярость. Теряя силы, Тристан доплыл до

песчаной отмели, и они с Изабель, задыхаясь, выбрались на противоположный берег. Сами о том не подозревая, они пересекли водораздел и из района, где реки текут на юг, в Парагвай, пришли в земли Пареси, откуда все речки и ручейки текут на север, через тысячи километров впадают в Амазонку.

Спасение

Прошли недели. Тристан и Изабель легли умирать. В маленькой рощице диких восковых пальм царила приятная колеблющаяся тень; сквозь стройные качающиеся стволы деревьев Тристан и Изабель видели поросший травой и кустарником склон, спускающийся к новой реке, и холм, возвышающийся уже по ту сторону реки. День клонился к вечеру; тонкий узор теней становился все плотнее, москиты и небольшие песчаные мухи снова начали кусать Тристана и Изабель, но они уже давно перестали замечать их.

Влюбленные держались за руки и смотрели в небо; Тристан, услышав, что дыхание Изабель замедлилось и стало прерывистым, повернул голову, чтобы еще раз увидеть ее профиль: с загорелого лба и с висков падали на землю пряди мерцающих светлых волос, а выступающие челюсти говорили о чувственности и склонности к шалостям — он заметил это еще с первого взгляда на пляже. Его пальцы нащупали болтающееся на высохшем пальце кольцо с надписью «ДАР», и его глаза совершенно равнодушно зафиксировали присутствие за головой Изабель высоких кожаных сапог, сильно потрепанных и изношенных. Рядом стояли другие ботфорты, похожие на изможденные ноги животного, оканчивавшиеся вверху рваными штанинами из грубого выцветшего сукна.

Тристан сел и почувствовал у горла острие рапиры.

— Сиди, черномазый, — раздался низкий голос с довольно приятным, чудным, церемонным акцентом, какой Тристану не приходилось слышать раньше. За позолоченной чашей гарды на другом конце рапиры виднелось пухлое, но не изнеженное, заросшее бородой бронзовое лицо, затененное широкополой кожаной шляпой. — Судя по твоему виду, ты давно бродишь в поисках пищи. Проще простого проткнуть тебя насквозь. А что за видение спит рядом с тобой? Наверное, прекрасная принцесса, сбежавшая со двора Хуана Пятого. Черная и белая шахматные фигурки пришли сыграть с нами партию-другую!

По веселому хохоту мужчины и его спутников, с любопытством толпившихся вокруг, Тристан догадался, что сейчас случится что-то забавное. Даже когда они надели ему на запястья тяжелые ржавые кандалы, а шею заковали в железный ошейник с цепью, он понял, несмотря на бессилие и усталость, что это делается для его же блага. Изабель, вскрикнув, очнулась ото сна; казалось, будто ее перенесло сюда из рассыпающегося театра грез.

— Тристан, — проговорила она, — если мы уже умерли, то как грубы ангелы небесные!

Бородатые разбойники, а их было человек шесть или семь, были одеты в потертую и залатанную кожу; на груди у каждого было что-то вроде панциря из грубой кожи, подбитого изнутри ватой, — достаточно удобного, решила Изабель, и в то же время прочного, чтобы защитить от стрел. Одежду они, похоже, носили по многу лет; у некоторых разбойников шляпы были сшиты из пальмовых листьев, а не из кожи, а кое-кто просто повязал голову платками. Были среди них и увечные: однорукие или одноногие. Несколько разбойников держали

на плече мушкет или аркебузу. Услышав голос Изабель, они зачарованно зашептались, словно до этого Богом забытого обломка цивилизации донеслось из Венеции или Антверпена звонкое пение арфы. Десятки лет минули с тех пор, как они в последний раз слышали голос белой женщины. Разбойников сопровождали человек двадцать индейцев, одни из которых были абсолютно голыми, а другие носили мешковатые штаны и куртки. У одного ослабившегося дикаря из продырявленного носа торчали в стороны перья попугаев; другие украсили свою наготу браслетами из обезьяньих шкур и нитками ожерелий из речного перламутра; все они, включая нескольких женщин, которые либо на руках, либо в утробе несли ребятишек, составляли небольшой дружный отряд. Они окружили Тристана и назойливо, как пчелы-глазолизы, без тени смущения ощупывали его со всех сторон, словно он представлял собой какой-то чудной механизм. К Изабель они прикасались более осторожно, и она попыталась, воспользовавшись этим, загородить собою Тристана, однако грубость, с которой ее отшвырнули прочь, показала ей, что их восхищение белокожей красавицей не было беспредельным. Кроме того, воздействие ее тихого женского голоса и акцента кариоки на ушные перепонки этих разряженных в кожу искателей приключений тоже имело определенные границы. Тем не менее человек с рапирой — вожак отряда — с какой-то странной почтительностью позволил ей держать в руке цепь от ошейника Тристана, словно признавая за ней право собственности на черномазого мужчину.

— Я боюсь, Тристан, — шепотом призналась она.

— Чего? Это же твои соплеменники.

Ее оскорбили враждебность и злость, сквозившие в его голосе. Между ними внезапно возникла пропасть. И это после долгого путешествия, во время которого их высохшие тела почти слились в одно!

— По крайней мере, нас накормят. Эти негодяи толсты, как свиньи. — Голос Тристана чуть смягчился.

По расширяющейся тропинке отряд по склону холма спустился к реке. Расчищенные поля и ухоженные посадки маниоки и бобов подготовили их к появлению поселка — беспорядочного скопления круглых, крытых пальмовыми листьями хижин, одни из которых были лишены стен, как полагается у индейцев, а другие имели толстые бревенчатые или глинобитные стены, обеспечивая европейцу иллюзию замкнутого пространства. Вдоль реки стояли рядами деревянные подставки для вяления рыбы и рамы из жердей, на которых сохли сети. Неподалеку в куче щепы валялись и несколько недостроенных долбленых лодок. Выгоревшее на солнце знамя с крестом и щитом трепыхалось на бамбуковом шесте, венчавшем крышу самого большого здания в поселке — помещения для собраний, куда могло поместиться все население. Через час, после того как ловкие и настойчивые индейцы накормили и помыли пленников, их доставили именно в это здание, где уже собралась толпа, и подвели к другому бронзоволицему мужчине — постарше и постройнее; он сидел в похожем на трон плетеном кресле с высокой спинкой, украшенной пятнистой шкурой и головой ягуара с оскаленной пастью.

— Я имею честь быть капитаном сей бандейры[14] отважных и набожных паулистов, — сказал тот, иронично представляясь пленникам. — Мое имя Антониу Альварес Ланьес Пейшоту. Ты уже знакома с моим младшим братом Жозе де Альваренга Пейшоту.

Борода у Антониу была клинышком, фамильный бронзовый цвет лица на скулах и большом горбатом носу переходил в золото. Заметив, что Изабель не сводит глаз с его носа, он приложил к нему палец и сказал:

— Моей матерью была индианка-карижу, а отцом — новый христианин, точнее говоря, один из бывших сынов Авраамовых, как и половина населения Сан-Паулу. Влияние Священной инквизиции Баийи не распространяется на наш юг, хотя, — торопливо добавил он, — иезуиты не обнаружили бы у нас недостаточного рвения в соблюдении веры, клянусь ранами на теле Господнем. Мы ли не рисковали жизнью и здоровьем ради спасения душ язычников? Разве не бродили мы годами по адской земле кактусов и муравейников, разве не терзали нас самые ужасные острозубые рыбы и насекомые, каких только Создатель всего сущего изволил сотворить? Разве не осаждали нас безжалостно дикари, коих мы стремились спасти от греха, дикари, вооруженные и доведенные до безумия испанскими иезуитами, этими тварями в черных сутанах, изменниками своей расы и веры?

Казалось, эти риторические вопросы обращены не столько к Изабель — хотя даже в самые страстные мгновения своей речи оратор не сводил с нее блестящих маленьких глазок цвета янтаря, — сколько к отряду оборванных воинов, толпившихся за спиной у пленников.

— Ради собственной выгоды и разврата эти богохульники пестуют неверных, — поносил он иезуитов, — в так называемых резервациях, содержа их в наготе и безделье. Мы в наших поселениях и королевских имениях уже давно обратили бы их в боговдохновенную веру, научили полезному труду и одели в цивилизованную одежду.

— Я слышала о королях, — робко встряла Изабель. — Но они правили очень давно.

— Да, — оборвал ее круглолицый Жозе, — долго блуждали мы по здешним дебрям, дав обет не возвращаться домой без индейцев и золота. Ну а ежели мы и переживем парочку королей, а по дороге чудесным образом родим пару-тройку ребятишек, что с того? Ведь мы вернемся в наши имения богатыми людьми, с полчищами работающих слуг. Если что, можем обменять их на участки земли! Белое золото — наша цель, красное золото — наша добыча!

Антониу, подняв палец, остановил страстную речь брата.

— Мы вербуем еретиков ради их же спасения, — напомнил он своему отряду, обращаясь тем не менее к Изабель. — Они бьют нас по правой щеке, мы подставляем левую: только захватываем их в плен, в то время как они, оказавшись на нашем месте, просто убили бы своих пленников. Во мраке своего безбожия они поедают мозг и внутренние органы своих врагов, чтобы обрести храбрость в бою. Мы же искореняем эти дурацкие обычаи и обучаем настоящей науке и полезным ремеслам. Так, невзирая на ужасы сражений, мы дарим им милость Спасителя, а они отплачивают нам за это отравленными стрелами!

Услышав такую витиеватую речь, никто не смог удержаться от смеха; остальные члены бандейры весело зашумели, а Жозе доверительно, с хитрецой, как давним знакомым, признался Тристану и Изабель:

— Правда, если мужчины молоды и слабы и не могут работать, а женщины слишком стары, чтобы согреть мужчине постель, мы, конечно, с ними не возимся.

— Значит, все эти туземцы, — Изабель спросила Антониу, —

ваши рабы?

— Умоляю тебя, дитя мое, не произноси это слово. Порабощение туземцев запрещено строгим королевским указом и многократно осуждено папскими буллами. Управлять ими — вот наши намерения. Тех же, кого ты видишь вокруг, всех этих тупи, гуарани и кадивеу, мы просто убедили присоединиться к нам, и они стали нашими проводниками и любезными товарищами. Многие из нас рождены индейскими матерями, и мы, в свою очередь, продолжаем род тем же путем. Другие, правда, были бы рады убежать со службы, да не могут. Господь еще не благословил наш поход богатым урожаем обращенных душ, а многих из вновь обращенных Господь, увы, призвал в царство небесное, наградив оспой или лихорадкой. У нашего священника кончились запасы драгоценного вина, и он уже не может причащать их перед смертью.

— Эти негодяи бегут от нас, — вмешался Жозе, — они бегут от нас, даже умирая! Они столь неблагодарны, что останавливают биение своих сердец! Вот почему, госпожа, твой негр — настоящее сокровище для нас; даже в Сан-Паулу не многие могут позволить себе чистокровных черных рабов. Эту расу Господь создал для того, чтобы обогащать их благодетелей: сыны Хама должны служить сынам Сима и Иафета. Они живучи. Да, они тоскуют по своей отвратительной родине, вырезают себе идолов и бьют в барабаны, а если их набирается изрядное количество, то, сбившись в стаю, они поднимают мятеж и бегут в леса, где строят поселения, в которых царят разврат и анархия — все это так; но они не мрут, как индейцы.

— Он не раб! — воскликнула Изабель.

Кустистые, рыжие с проседью барочные брови Антониу удивленно приподнялись.

— Кто же он в таком случае?

— Он мой... он мой спутник, мой муж, — сказала Изабель. Она собралась с духом, приготовившись к граду насмешек, ибо говорить об упрямо молчащем существе, которое держат в ошейнике и на цепи, подобно собаке или обезьяне, как о своем муже, было полным абсурдом, однако слова ее утонули в удивленной тишине. — Я люблю его, — произнесла она в этой тишине тонким срывающимся голосом: сколько километров она несла свою любовь через просторы Бразилии, как тонкую фарфоровую вазу.

Антониу подался вперед, и его мягкие янтарные глаза внимательно уставились на нее.

— Поведай нам о себе, — приказал он.

— Мы шли на запад столько недель, что сбились со счета, — начала она, — мы спасались бегством от гнева моего отца, недовольного нашим союзом, и искали место, где можно поселиться и заняться полезным трудом. Недели две назад, а может больше, на нас напали раскрашенные дикари; они убили верную индианку тупи и похитили двух наших детей, ускакав прочь на огромных лошадях. Это краткое перечисление бед окончательно сломило Изабель, по ее щекам потекли слезы, а в горле застряли рыдания.

— А, это гуайкуру, настоящие воплощения дьявола, — горячо заговорил Жозе. — Они владеют арабскими конями, как чародеи, не пользуясь ни седлами, ни стремянами. Всканивают на лошадь одним прыжком. Их женщины, чтобы не мешать передвижению племени, убивают детей в своих утробах и, нанося себе ужасные раны, навсегда становятся бесплодными; чтобы восполнить нехватку детей, они

похищают их где только можно и воспитывают по своим сатанинским обычаям. Они столь извращены, что заставляют некоторых мужчин одеваться в женские платья, и эти мужчины должны мочиться, сидя на корточках, и раз в месяц истекать кровью. Их святотатству нет границ! Изабель обратилась к Антониу:

— Господин, а моих детей... — Ее голос судорожно прервался. —

Могли бы вы и ваши храбрецы спасти моих детей?

Вожак бандейры наклонился к ней, как любящий отец.

— Гуайкуру многочисленны и свирепы, — печально произнес

он. — Нас было втрое больше до того, как мы вступили с ними в битву.

— И у них есть братья по сатанинскому промыслу Пайгуа, — деловито вставил Жозе, вспотев от возмущения. — У них каноэ вместо лошадей, и они перелетают в них через реки, как птицы! Плавают они, как рыбы, с абордажными саблями в зубах!

— А человек, — спросил у Изабель Антониу, не отводя от нее взгляда своих янтарных глаз, — которого ты именуешь своим мужем, не пытался защитить ваших общих детей?

Объяснять, что дети могли родиться и не от Тристана, было не к месту. Изабель заговорила, и перед ее взорами вновь пронеслись картины того ужасного вечера — дети в коконах из москитной сетки, раскрашенный индеец гуайкуру с тонкими белыми бивнями под нижней губой.

— Он защищал. Он застрелил одного из индейцев, но их было слишком много, и они успели сбежать с детьми.

— Застрелил, говоришь?

Тут вмешался Жозе:

— Сир, мы нашли этот механизм среди вещей. Сделан он великолепно, и сначала мы приняли его за голландскую игрушку или итальянскую табакерку, но потом более тщательный осмотр показал, что это пистоль, правда, укороченная, но очень ловко сделанная — на нем нет кремневого запала.

Он передал Антониу револьвер Сезара. Антониу осмотрел его отшлифованные станком детали и размашисто, как и подобает старому мушкетеру, вскинув револьвер, прицелился во что-то прямо над их головами и выстрелил. Все присутствовавшие оцепенели, услышав резкий хлопок и свист пули и почуяв кислотоватый запах пороха; в соломенной крыше не осталось заметных следов, и вождь отряда изумленно выстрелил еще раз, а уже потом револьвер дал осечку. Эти две пули Тристан хранил для себя и для Изабель. Теперь им придется жить дальше.

— Ты прав, брат, это детская игрушка. Этот ствол не вместит дроби даже на воробья.

Потом Антониу снова обратился к Изабель, словно вынося окончательный приговор:

— Этот черный раб больше не муж тебе, милое дитя. Рабы не имеют права иметь жену. Не отчаивайся. Я человек холостой и, как ты скоро сможешь сама убедиться, совсем еще не такой старый, каким кажусь на первый взгляд.

Упрямое молчание Тристана показалось ей громче раскатов грома, в которое превратились удары ее собственного изумленного стойкого сердца.

Становище

Старый вождь бандейры взял Изабель в жены, точнее говоря, он взял ее третьей женой, поскольку его уже обслуживали две

аборигенки, Такваме и Ианопамоко. Они восприняли пополнение без особого ропота, руки Изабель облегчали их труд, а в первый год ее жизни в бандейре индианки были почти полностью избавлены и от ублажения своего господина в постели. Изабель забеременела и на второй год замужества произвела на свет сына с янтарными глазами, которого назвала Саломаном, надеясь, что он вырастет мудрым и станет с честью носить имя ее отца; может, так ей удастся сменить гнев отца на милость. Когда она сообщила о своем решении Тристану через Ианопамоко — самую молодую наложницу Антониу, красавицу из племени тупика-вахиб, с цилиндрическим, лишенным талии туловищем и стройными, грациозными ногами, — Тристан оскалился и проклял свою жену.

— Пусть этот ребенок пожрет ее сердце, — сказал он, и, когда Ианопамоко, рассказывая об этом Изабель, попыталась изобразить оскал негра, черты ее комично исказились. Лицо индианки было довольно плоским, его покрывал узор из точек и крючочков ярко-синего цвета, значение которых было известно только той стоявшей на пороге великого забвения сморщенной карге, что обновляла их, когда краски бледнели.

Наверное, проклятие Тристана подействовало, поскольку младенец был странно тих и малоподвижен, в отличие от Азора, который пинался и толкался маленькими толстенькими ручками и ножками с первых же дней своей жизни.

Тристана заковали в ножные кандалы, чтобы предотвратить побег, послали работать в поле, на выжженные солнцем плантации маниоки и маиса, сладкого картофеля и земляных орехов, табака, тыкв и бобов. Затем, когда хозяева заметили в нем навыки механика, приобретенные на заводе и на золотом прииске, его поставили вырубать из дерева каноэ для дальнейшего продвижения бандейры вниз по реке. Каноэ эти нужно было строить широкими и прочными, чтобы воины пайагуа не могли подплыть под водой и перевернуть их, поэтому для них вырубались самые большие стволы каштанов, красного дерева и араукарий, которые затем приходилось выдалбливать единственным ржавым теслом. Братья Пейшоту надеялись спуститься по воде к Мадейре, где, по сообщениям предыдущих экспедиций, индейские поселения облепили реку, словно виноградины лозу перед сбором урожая. Оттуда они смогут спуститься к Амазонке и далее по морю вернуться домой в Сан-Паулу и по-райски провести старость в окружении благодарных одомашненных язычников.

Изабель лежала в постели рядом с Антониу под большим, выполненным с мельчайшими подробностями распятием, где каждый ноготь на руке или ноге, каждый гвоздик и струйка крови казались реальнее настоящих, и слушала рассказ о долгом походе бандейры. Они отправились из дома, исполненные боевого духа, с большими запасами провизии и амуниции, а их жены, дети и банкиры, дававшие денег на поход, провожали их, пройдя с ними первые несколько километров по разбитой дороге. Через сорок дней поредевшая, поизносившаяся, но закаленная в боях бандейра прибыла в миссии Паранапанема и Гуайра и обнаружила, что миссии эти, в которых послушные, обращенные в христианство племена индейцев жили, как скот в загонах, были настолько разграблены и разорены нападениями таких же искателей приключений, что испанские иезуиты собрали оставшихся в живых индейцев и отправились с ними на юг и на запад в земли Параны за водопадами Игуасу. Затем, после месяцев лишений,

они достигли Параны, и им пришлось выдержать несколько ужасных сражений, поскольку испанские власти позволили наконец иезуитам вооружить индейцев ружьями. Легкие победы знаменитых Антониу Рапозу Тавареса и Андре Фернандеса, подарившие им тысячи пленных, остались в далеком прошлом. Бандейра Пейшоту отступила на запад, а потом на север, в болота Пантаналья, где добычи почти не было, поскольку побоища, болезни и нападения ягуаров и кайманов губили индейцев прежде, чем бандейра успевала до них добраться. Немногочисленные жители голодающих деревень — одна-две семьи, — едва попав в плен, вдруг начинали умирать один за другим с противными пуканьем и кашлем.

— По прибытии в деревню мы помогали ее обитателям завершить сбор урожая и проявляли при этом терпение, вполне достойное нашей задачи; когда же урожай был наконец собран, я, позволив своим людям попить и погулять одну ночь, отдал затем приказ отправляться в путь со всеми остатками припасов, заманивая тем самым индейцев в нашу бандейру. Как уже говорил тебе Жозе, язычники мерли как мухи: если болезни, которым их дух не сопротивлялся, порой щадили индейцев, то злоупотребление пингой, к которой ребята приучили их из озорства, а иногда и просто смятение дикарей, не понимающих, к чему мы стремимся, приводили их к смерти. Когда мы спрашивали о золоте, они готовы были расписывать нам целые золотые города, стоящие за ближайшим горным хребтом, лишь бы мы поскорее скрылись из глаз; если мы описывали им алмазы, то они рассказывали нам об алмазных городах. Тем не менее мы так и не добрались до края дикой саванны. Засуха сменялась сезоном дождей, за синей рекой текла коричневая река, а наша бандейра так и не смогла достичь своей цели, двигаясь от Южного Креста к Полярной звезде.

— Как долго продолжалось это путешествие, господин мой? Сколько лет длится ваш поход?

— Этого не знает никто, милое дитя. Мой мозг заволокло белым туманом здешних просторов.

Однако с каких бы давних времен ни стояли они лагерем в этих болотах, надежда на продолжение пути все еще жгла мозг ее владыки, заставляя его усы возбужденно топорщиться, и возбуждение это иногда достигало его узловатых, нежных чресел. Он еще надеялся достичь реки Мадейра, которая одарит их толпами здоровых индейцев, жаждущих обращения в новую веру, они станут его собственностью и превратят его фазенду на красных землях Сан-Паулу в царство небесное.

Держа на руках своего сына, Изабель не могла обнаружить в его обескровленном лице ни силы, ни ума. Ему не хватило соображения даже на то, чтобы сосать грудь. И тогда Изабель начинала плакать о Тристане, своем гордом любимом, прикованном навек к стволу дерева и от рассвета до заката наполняющем лагерь стуком тесла. Индейцы, которые до его появления лениво и беспорядочно долбили стволы деревьев, теперь считали это занятие ниже своего достоинства и почитали своим долгом подгонять черного раба кнутом.

Ианопамоко жалела Изабель; молодые женщины полюбили друг друга, как сестры, и научились говорить на своем собственном языке — причудливой смеси из скудного запаса португальских слов и нескольких фраз родного наречия Ианопамоко (слова в нем всегда оканчивались на резкие ударные слоги «зип», «зеп», «пеп», «сет» и «тап»), которые Изабель постепенно усвоила.

— Знаешь, — сказала однажды Ианопамоко, когда беспомощному плоду чресел Антониу было уже больше года, — колдовство еще существует. Захватчики еще не смогли порушить наш старый договор с духами. Еще остаются далекие места, где, — Ианопамоко произнесла слово, оканчивающееся на «зеп», — оно уничижительно обзывало португальцев поедателями потрохов броненосцев, — еще не ступали своими грязными ногами. В семнадцати днях пути на запад есть шаман, который мог бы...

— Освободить Тристана? — с надеждой спросила Изабель. Ианопамоко замолчала; лицо ее, покрытое синими узорами, нахмурилось.

— Я хотела сказать, что он может дать твоему ребенку ум, который есть у других детей.

— Да? — Изабель попыталась изобразить заинтересованность, как и положено матери. Однако в столичном университете она ходила на лекции по психологии и знала, что ум подарить не так-то просто — нужно изменить работу миллиардов взаимосвязанных нейронов. Слабоумие Саломана, его нежелание научиться ползать или хотя бы произносить звуки вновь пробудили в Изабель любовь, проклятие Тристана оказалось сильнее имени ее отца и семени ее нового господина, и дефективность ребенка стала бы тайным звеном, связавшим Изабель с африканским рабом, который неумоимо и зло долбил дерево, от рассвета до заката наполняя лагерь стуком тесла.

— У колдовства, — осторожно пояснила Ианопамоко, словно пытаясь сблизить два представления о приоритетах — свое и Изабель, — свои законы и свои пределы, как и у природы, породивший магию. Чтобы получить что-то, нужно что-то отдать взамен. Чтобы твой младенец стал умным, тебе, возможно, придется отдать ему часть своего разума, подобно тому, как ты делилась с ним пищей, когда он находился в твоём чреве.

— Я готова на жертвы, — сказала Изабель столь же откровенно и осторожно. — Но я не могу вообразить себя менее разумной, не перестав одновременно быть собой.

— Путь к шаману долог и небезопасен. Да и сам он не бессмертен. Он очень стар и очень печален, так как предвидит судьбу своего народа.

— Если он обладает подлинной магией, — спросила Изабель, — то почему он не обратит вспять поток смертей и поражений, хлынувший сюда вместе с европейцами?

— Колдовство не может быть всеобъемлющим, — объяснила Ианопамоко, не теряя терпения. — Оно не может быть... — на этот раз слово оканчивалось на «тап», — ...политическим. Колдун имеет дело с душой, а не со странами или народами. Он действует только по чьей-нибудь личной просьбе, и необходимы необычные процедуры, последствия которых не всегда однозначны. Как и в природе, получить при помощи колдовства что-то из «ничего» невозможно. Многие индейцы, — Ианопамоко употребила слово, оканчивающееся на «кат», которое буквально обозначало приличных людей, тех, кого нельзя назвать нечистым или не соблюдающим приличий, — поэтому считают колдовство слишком утомительным. Шамана избегают, и работы у него немного. Однако для тебя, чье появление было подобно явлению духа и чья печаль спокойна и глубока, как чары, колдовство может оказаться спасением.

— Ты отправишься туда со мной, Ианопамоко?

— Да. Мне придется пойти с тобой. Иначе ты просто не доберешься.

— Но почему ты мне обо всем этом рассказала?

Стройная молодая женщина отвернулась, словно уклоняясь от нечаянной стойкости. Ее короткие волосы были уложены при помощи золы и растительной смолы в прическу, напоминающую перевернутую чашу. Слова ее, сказанные на ее родном замысловатом и резком языке, означали примерно следующее: «Я тебя люблю».

Когда Изабель впервые появилась в доме вожака бандейры, его прежняя жена приветствовала свою новую подругу легким прикосновением, похожим на прикосновение пчелы к цветку, но постепенно, много ночей спустя, они превратились в более длительные и целенаправленные ласки на глазах у всех — у ее народа нагота была равнозначна торжественному наряду. А если игривые объятия временами порождали тайную дрожь и лепестки лона увлажнились росой любви, вызывая желание ответить тем же, насколько позволяет таинство плоти, то разве могла противиться этому и стыдиться этого Изабель, чье сердце разрывалось между пожилым любовником и закованным в кандалы любимым? Да, жены любили друг друга и занимались любовью.

— А Саломан? — спросила она. — Нужно ли брать его с собой?

Дальняя дорога может оказаться для него губительной.

Ответ Ианопамоко прозвучал торжественно:

— Ты права — он должен остаться. Пойдем только мы с тобой.

Такваме и ее дочери позаботятся о Саломане и будут кормить его кашей из маниоки и бананов. Молоко у тебя уже кончается, да и сыну твоему оно не пошло впрок.

Послышался ли Изабель упрек в словах индианки? Что понимает в материнстве эта маленькая женщина, похожая на статуэтку из сепии? Что она знает о материнской доле и материнском бесчувствии? Хотя и была эта индианка некоторое время любимицей Антонию, она не принесла ему плода, и сокровенные глубины ее существа оставались непроницаемыми для мужских чар.

Столовая гора

Они переправились через реку рано утром на маленькой долбленке; лес на западном берегу по праву назывался сельвой или матой, то есть джунглями. Покинув выжженный солнцем мужеподобный мир кустарников великого Мату Гросу, они попали в другой, более пышный, сумрачный женственный мир. Узкие тропы, которые Изабель ни за что не смогла бы разглядеть в зарослях, вились по миру зеленых теней, полному цветов и плодов. Трубные крики птиц яку, верещание и щебет невидимых обезьян сопровождали путниц; Изабель с Ианопамоко мелькали в просветах густых зарослей, куда сквозь верхние ветви пробивались лишь узкие столбики света, кишевшие тучами насекомых. Между однообразными гладкими стволами тянувшихся к небу деревьев, увешанных лианами и подпертых мощными корнями, почти ничего не росло; километр за километром женщины шли по коричневому ковру из мертвой шелухи семян и старых пальмовых листьев, которые источали сладковатый запах тлена, подобно гробницам в заброшенном соборе. Каштаны и орехи градом сыпались вниз, когда Ианопамоко грациозно взбиралась по стволу дерева и трясла ветки; они шли босиком от рассвета до заката, питаясь красноватыми ягодами арасы, внешне похожими на вишню — они пахнут скипидаром, и слюна от них пенится, — и

стручками инги, набитыми сладким пухом, дикими ананасами, мякоть которых содержит множество крупных черных семян со вкусом малины, грушами бакури и даже редким деликатесом под названием асаи, который, если его сорвать, за ночь превращается в массу, напоминающую фруктовый сыр. Все эти сладости висели вокруг них на ветвях необитаемого Эдема: этот мир был сотворен Богом в юности и потому полон замысловатых экспериментальных форм; как и многие художники, Бог добился самых сложных и фантастических эффектов на раннем этапе творения.

По ночам обе женщины заворачивались в один кокон из москитных сеток, а утром разворачивались, как влажные, только что вылупившиеся бабочки. Ночи были прохладными, и они теснее жались друг к другу; шаг за шагом Изабель с Ианопамоко поднимались все выше и выше под самую крышу зеленого мира и, наконец, на шестнадцатый день вышли к подножию поросшего высокой травой холма, по корневым уступам которого пульсирующе пробегали серебристые тени ветра; с плоской вершины скалистого холма тянулись вниз сверкающие нити множества водопадов. Эти слезы на лице природы, которые текли в оправе из широких лент водорослей и мха, временами трудно было отличить от жил кварца. Несколько индейцев, говоривших на языке, который Ианопамоко понимала с трудом, с опаской окликнули их из высокой травы. Они смотрели на Изабель так, словно перед ними стояло привидение, а не человек. Голос Ианопамоко мягко застрекотал, объясняя, умоляя, требуя что-то. В какой-то момент она обеими руками приподняла сверкающие волосы Изабель, будто взвешивая их, а потом быстро потерла смоченным слюной пальцем кожу Изабель, показывая, что ее белизна — не фальшивая.

— Они считают, что риск слишком велик, — объяснила наконец Ианопамоко, — и хотят получить вознаграждение за свое содействие.

— Мы взяли с собой крест и портсигар, — ответила ей Изабель. — Крест оставь. Предложим портсигар.

Витиеватая монограмма дяди Донашиану исчезла под грязным темным пальцем, расплюснутым терпеливой работой лесного жителя. Главный из встретивших их индейцев с громким щелчком открывал и закрывал портсигар и каждый раз, открывая крышку, следил глазами за полетом невидимого существа, которое, как ему чудилось, вырывалось наружу, губы его при этом растягивались в широкую улыбку, обнажая гнилые зубы, и он начинал изумленно хохотать. Дар был принят. После долгих переговоров Изабель с Ианопамоко повели вверх по скользкой тропе, и путь их несколько раз проходил за пеленой падающей воды. Брызги переливались радугой, как крылья стрекоз, и впивались в кожу холодными иголочками.

На вершине скалы несколько крытых тростником глинобитных хижин жались к зарослям, каких Изабель еще не приходилось видеть: короткие и толстые ветви, усеянные колючками и узлами, сверкали каплями росы, будто их пересадили сюда из подводных коралловых садов. Их корни уходили в трещины на гладкой поверхности застывшей лавы. Изабель шла по ней, как по проложенным через ручей камням или поставленным на попа буханкам хлеба; камни здесь оказались пепельно-серого цвета — их обожгло пламя, которое было древнее, чем океан. Когда Изабель подняла глаза к небу, она увидела вдали нечто совершенно восхитительное, прежде видимое только на страницах иллюстрированных журналов: это был снег! Издалека его

чистое белое покрывало на горных пиках казалось синим, как подкладка туч. Географические знания, приобретенные в монастырской школе, подсказали ей, что это отроги Анд и где-то по дороге к ним Бразилия должна наконец-то кончиться. Хотя Изабель прожила среди индейцев три года и немного знала их язык и сказания, они по-прежнему казались ей непонятными, как грустные дети, а поведение их поражало Изабель непредсказуемой смесью упрямой робости и замаскированных желаний. Вот они верно служат тебе, но достаточно одной искорки, и они уже готовы тебя убить. За их миндалевидными глазами и изуродованными ртами таился совершенно неведомый мир наэлектризованной психики. Поселение на вершине скалы выполняло роль этакого соборного скита: пищу его обитатели добывали на лугах и в лесу у подножия скалы, а сердцем его был шаман и его низкая овальная хижина. Безопасность у Изабель всегда ассоциировалась именно со святилищами и культовыми постройками, но все же здесь, где находился краеугольный камень невидимой духовной системы, она боялась нечаянно нанести смертельное оскорбление. На первую встречу с шаманом Изабель отправилась со страхом. По форме и внешнему виду хижина шамана напоминала гнездо птицы-печника и была такой приземистой, что внутрь Изабель смогла пролезть только на четвереньках. От дыма защипало глаза, и слезы застилали взор. Очаг, растопленный тонкими ветками горного кустарника и брикетами мха, выбрасывал языки синего пламени, и вскоре Изабель, привыкнув к полумраку, разглядела маленького нагого человека, лежащего в гамаке по ту сторону очага. Тело его было гладким, а живот большим, но голова выглядела высохшей и сморщенной и казалась еще меньше под высоким головным убором из разноцветных перьев попугаев. Вся поросль на его лице, включая ресницы, была выщипана, однако над торчащими ушами росли тонкие и длинные, как перья, пряди седых волос. Лодыжки шамана были украшены браслетами из больших треугольных орехов, а в руке он держал мараку — погремушку из выскобленной тыквы размером со страусиное яйцо, — которую то и дело встряхивал, чтобы подчеркнуть важность сказанного.

Как только шаман увидел Изабель, он закрыл глаза и затряс маракой, будто желая избавиться от этого наваждения. Хотя Изабель и привыкла ходить обнаженной, как индейцы, — сегодня, отправляясь к колдуну, она обвязала вокруг талии нечто вроде саронга — она сделала его раньше из того самого темно-синего платья с красными цветочками, в котором невинно пыталась завоевать симпатии Шикиниу. Саронг защищал ее ноги от колючек и кусачих насекомых, когда она отправлялась в лес собирать пропитание для Антониу.

— Майра, — приветствовал ее шаман. — Кто ты? Почему ты нарушаешь мой покой?

Ианопамоко перевела его слова на смешанный язык, которым они с Изабель пользовались; ей приходилось по несколько раз переспрашивать шамана, поскольку тот не только говорил на незнакомом диалекте, но и вдобавок ко всему был беззубым, а в нижней губе его красовалось несколько нефритовых затычек.

— Майра, — пояснила она Изабель, — это имя пророка, как Иисус у португальцев. Он еще ни разу не видел людей с твоим цветом кожи и волосами, подобными солнечному свету. Белые, люди еще не показывались в этой части мира.

Изабель вспомнила, с каким презрением Тристан произнес слова «твои соплеменники», наверное, именно те слова заставили ее искать чуда.

— Я не пророк; я женщина, доведенная до отчаяния, и пришла к тебе молить о помощи, — сказала она.

Ианопамоко перевела, шаман нахмурился и залопотал, то и дело прерывая свою речь сердитым треском своей мараки.

— Он говорит, — прошептала Ианопамоко, — что колдовство — дело мужское; женщины — это грязь и вода; мужчины — воздух и огонь. Женщины — я не совсем понимаю это слово, по-моему, оно значит «нечистый», а кроме того обозначает опасное, хитрое дело. Потом она довольно долго говорила что-то шаману и пояснила Изабель:

— Я сказала ему, что ты пришла сюда ради своего ребенка, чей отец так стар, что его сын родился лишенным жара обычного человека.

— Нет, — возразила Изабель подруге, — я пришла сюда не ради Саломана, а ради Тристана, моего мужа!

Шаман посмотрел на одну женщину, потом на другую, уловив несовместимость их желаний, и возмущенно потряс маракой, брызжа слюной из дырки под губой, откуда вывалилась нефритовая затычка. Он заговорил не повышая голоса, заставив обеих женщин наклониться к качающемуся гамаку.

— Я ему не нравлюсь, — испуганно прошептала Ианопамоко, — потому что я женщина его расы. Он этого не говорит, но я это чувствую. По-моему, он говорит, что ты по своему духу мужчина и он хочет говорить с тобой, но только без посредников.

— Но это же невозможно! Не оставляй меня с ним!

— Я должна, госпожа. Я вызываю его недовольство. Колдовство не свершится, если я останусь с тобой. — Стройная Ианопамоко уже поднялась на ноги, а шаман продолжал свою речь, оживленно жестикулируя, брызжа слюной и покачивая великолепным головным убором. — Он приказал, — пояснила Ианопамоко, — чтобы принесли кауим, петум и яже.

Петум, как Изабель обнаружила, оказался каким-то странным табаком, а кауим — чем-то вроде пива, отдававшего орехами кешью. На шамана произвело впечатление то, как она по-мужски, вспомнились студенческие годы в столице, отхлебывала пиво и затягивалась табаком из длинной трубки, которую он то и дело протягивал ей. Он, казалось, старался выдохнуть дым прямо на нее, и, когда Изабель поняла, что это знак вежливости, тоже пахнула в него дымом. Что-то необычное стало твориться с ее зрением — в разных уголках глинобитной хижины вдруг замерцал свет, и Изабель догадалась, что в трубке не просто табак. Наверное, к петуму подмешали яже. Шаман сидел перед ней, тело у него было как у мальчика, а член для красоты продет в плетеный чехол, похожий на соломенную трубочку, из которой крайняя плоть торчала таким сморщенным бутончиком цвета охры; колдун молчал, смотрел на нее со все более довольным выражением лица. Все это время Изабель сидела на корточках по другую сторону костра; ее суставы, привыкшие к такой позе за годы жизни среди индейцев и бандейрантов, чувствовали себя очень удобно. Правда, ему было видно все, что у нее было под подолом, но зачем, в конце концов, это прятать? Разве не эти самые части нашего тела дарят нам самые славные моменты жизни, разве не они ведут нас по жизни к свершению судьбы? А может, она уже просто пьяна.

Когда шаман наконец заговорил, она чудесным образом поняла его; некоторые из невнятных слов шамана словно зажигались во мраке, переливаясь оттенками смысла, и значение всего предложения, извиваясь, вползло в ее мозг. Каким-то образом этот дым разъял перегородку между их сознаниями.

Он сказал ей, что у нее сердце мужчины.

— Да нет же! — возразила она и, не зная нужных слов, приподняла ладонями свои обнаженные груди.

Он отмахнулся от нее, лениво потрянув маракой. Потом добавил, что она не хочет вылечить своего ребенка. Почему?

Она не знала нужных слов и не могла сказать, что ребенок внушал ей отвращение и стыд. Вместо этого она изобразила на своем лице жалкую бессильную мину Саломана и его глаза без единой искорки мысли. Потом она произнесла слово, обозначающее мужчину, сильное и острое, с окончанием на «зеп», хлопнула себя по груди открытой ладонью и сказала:

— Тристан!

— Тристан трахает тебя, — попросту сказал шаман.

— Да, — ответила она, — но только не последние три года. — Ее пальцы красиво изогнулись, показывая оковы на ногах Тристана. — Его сделали рабом злые люди. — И у Изабель голова закружилась от гордости, что она смогла выговорить такое длинное предложение. — Он черный. — Испугавшись, что ее не поймут, она нарисовала в воздухе высокую фигуру человека и поднесла к ней выкатившийся из костра уголек. Потом для верности показала на отверстие в крыше хижины, где в черном кружке сверкала пара звезд; уже наступила ночь. — Его народ пришел из-за великого океана с огромного, даже больше Бразилии, острова, где солнце сделало людей черными.

— Майра, что ты хочешь получить от меня?

Когда Изабель начала объяснять, глаза на безволосом лице шамана широко раскрылись, а челюсть отвисла сначала от непонимания, а потом от осознания того, что именно ей нужно.

Если она его правильно поняла, колдун сказал:

— Колдовство — это способ корректировать природу. Из ничего ничто не сотворить, только Монан может творить из ничего, а он уже давно устал от творения, поскольку увидел, как люди испоганили его мир. Колдовство может только менять местами и замещать, как передвигаются фишки в игре. Когда что-нибудь отсюда перемещают туда, что-то нужно поместить сюда. Ты понимаешь меня?

— Понимаю.

— Ты готова к жертвам ради Тристана?

— Я уже многим пожертвовала. Я потеряла свой мир. Я потеряла своего отца.

— Готова ли ты изменить себя?

— Да, если он будет любить меня по-прежнему.

— Он будет трахать тебя, но не так, как раньше. Когда природу беспокоят колдовством, ничто не остается неизменным. Вещи меняются. — Красные от дыма и кауима глаза шамана снова сощурились, вспыхнув огнем.

— Я готова. Я жажду этого.

— Тогда мы начнем завтра, Майра. То, что мы будем делать, должно происходить при дневном свете в течение шести дней. — Казалось, что губы его отстают от слов, смысл которых достигал ее сознания раньше, чем он открывает рот. — Чем ты заплатишь мне? —

спросил он.

— Уйдя из дома, я отказалась от большинства своих вещей. Все, что у меня есть, это маленький крестик, покрытый драгоценными камнями. Крест — это символ нашего Бога. Он символизирует одновременно и мучительную смерть и бесконечную жизнь. Под его знаменем народ побеждает во всем мире. — Изабель нарисовала угольком крестик на своей белой ладони и показала его шаману. Тот закрыл усталые красные глаза, словно отворачиваясь от беды. — Он стоит много крузейру, — сказала Изабель.

— Что такое крузейру?

Она не смогла объяснить.

— Это бумага, которую мы используем в торговле вместо раковин и смолы.

— Я возьму вот это, — шаман показал на кольцо с надписью «ДАР».

— Пожалуйста, только не кольцо! Тристан подарил его мне как знак своей верности!

— Тогда это то, что нужно. В нем заключен дух вас обоих. — Он протянул к ней руку — гамак его качнулся в противоположную сторону — и сделал хватательное движение, понятное без всякого посредничества наркотика: «Дай его мне».

С тяжелым сердцем она сняла с пальца кольцо и положила его в ладонь шамана. На ощупь его рука казалась горячей, как и руки ее детей, когда микробы насморка, кори или коклюша пробирались в их тела. У Изабель словно выбили зуб: она поняла, что уже никогда не сможет вернуть то, что отдала сейчас. Жизнь обкрадывает нас, медленно, отсекая от нашей сущности по кусочку. То, что в конце концов остается от нас, это уже некая новая субстанция.

— Чтобы мое колдовство подействовало, ты должна узнать мое имя. Меня зовут Теджукупапо.

— Теджукупапо.

— Колдовство изменит тебя.

— Я в твоих руках, Теджукупапо.

— У тебя большой дух мужчины и страсть к вольной жизни. Ты совсем не такая, как эта грязная тварь, что пришла с тобой. Она скоро умрет.

— Ах нет, только не милая Ианопамоко! Она была так чудесно добра ко мне!

Теджукупапо недовольно зашамкал, и затычки в отверстиях под нижней губой начали биться о десны.

— Доброта доставляет ей чувственное наслаждение. Ей нравится отдаваться тебе. Она этим доставляет удовольствие себе. Она чувствует в тебе мужчину и... — То, что он сказал, значило просто, что Изабель трахает ее. Он смачно харкнул в затихающий огонь, и угольки в очаге тоненько зашипели.

И все же Ианопамоко привлекли к участию в колдовстве, которое состояло в том, что на все тело Изабель наносилась черная краска под названием женипапу. Ее невозможно было размазывать по всей коже сразу; приходилось рисовать узоры из точек и извилистых линий, какие умеют наносить только индианки, сохраняя необходимую тайную симметрию и последовательность. Этим-то и занималась Ианопамоко, и ей помогали молоденькие девушки из деревни на

вершине горы; они наносили краску на сверкающую кожу Изабель маленькими кисточками из щетинок капибары, вставленных в расщепленные бамбуковые палочки. Теджукупапо выдыхал на узоры теплый дым петума, чтобы краска проникла глубже и стала столь же несмываемой, как печать творения Монана. Изабель с трудом сдерживала смех, ощущая, как кисточки щекоют ее, а теплые облака дыма изо рта Теджукупапо проникают в самые интимные расщелины ее тела.

Ее разбирал смех, и потому она с изумлением глядела на щеки Ианопамоко, которые блестели от слез, как и покрытая лавой вершина. Потому что Ианопамоко любила Изабель такую, какой она была.

Ночью Изабель пыталась дать понять своей спутнице, что она совсем не изменилась, и занималась с ней любовью яростно и по-мужски грубо, поскольку у изящной индианки стало непросто вызвать трепет любви. Сверхъестественная белизна Изабель была для Ианопамоко частью ее очарования, и Изабель почувствовала себя оскорбленной, поняв это. Только Тристан любил ту ее сущность, которая скрывалась за внешней оболочкой.

Лежа неподвижно под кисточками индианок и куря смесь петума и яже, она стала понимать слова шамана, который между долгими затычками и теплыми выдохами рассказывал ей о легендарных временах, когда земля была совсем пуста, — ведь Монан только-только сотворил ее. Люди двигались по глинобитному полу общего дома, крытого звездами, которые тогда горели ярче, маленькими стайками, как мошки. Сменялись поколения, люди все шли вперед, преследуя свою добычу, туда, где земля еще не устала от них. А добыча была знатной: то были стада лошадей с бородами на подбородках и костяными деревьями на головах; косматые твари, которые хватали добычу хоботами, — их огромные бивни скрещивались впереди пасти. Вечно убегающие к горизонту стада провели людей по узкому перешейку суши, окруженной с обеих сторон океаном, тем самым океаном, что не был сотворен Монаном, а остался после великого дождя, которым он погасил пожар своей ярости, вызванной людьми еще до рождения Ирин-Маже, отца первого Майры. Те существа, конечно, не были людьми в полном смысле этого слова, но мы называем их людьми. Огонь звался Тата. Воды звались Аман Атоупаве. Монан поместил людей на землю, чтобы они восхваляли его и были благодарны ему за то, что они существуют, но люди хотели только пить кауим и трахаться. Новая земля была обширна, но люди истощили ее, они истребляли дичь, друг друга и не помнили Монана. Люди подошли к другому узкому перешейку, с обеих сторон окруженному синими просторами Аман Атоупаве. Люди прошли по нему, но никто не вышел к ним навстречу, чтобы дать им бой. В новых землях росло много высоких деревьев. Там обитали ленивцы, которые спали на деревьях вниз головой столько, сколько живет человек, и гигантские броненосцы с камнями на хвостах, и маленькие рыбки в реках, которые могут сожрать корову быстрее, чем она успеет замычать от боли. Люди пробирались между деревьями. Они охотились и ловили рыбу, возделывали маниоку, добывали лекарства из деревьев и плели одежды из птичьих перьев. Здесь они обрели покой. Здесь они обрели пространство. Здесь люди были счастливы. Еще раньше Монан придумал женщину. Теперь же он преподнес людям свой последний дар: он изобрел гамак. Только Ту пан, незримо гремящий в небе, и Джурупари, незримо проносящийся по лесу, оставляя после себя

смердящий след в воздухе, напоминали людям о времени и о том, что все меняется.

Каждое утро нанесение краски возобновлялось, каждый раз тело Изабель покрывали новыми узорами, и островки белой кожи постепенно сокращались. Сначала кожу грунтовали густой кашицей, а потом покрывали более плотной краской женипапо; на седьмой день кожа ее приобрела черно-коричневый цвет — она стала темнее зерен кофе, но светлее кофейного напитка, кроме ладоней и ступней, а также кожи под ногтями и на внутренней поверхности век. Изабель с изумлением обнаружила, что даже ее срамные губы приобрели багровый оттенок женипапо. Обезьянье личико с выпуклыми губками и вздернутым носиком приобрело еще более хитрое и озорное выражение. Платиновые волосы прядь за прядью натирали черной смолой, и от этого они стали толстыми и закурчавились. Под новой черной кожей рельефно вырисовывались мускулы, натренированные годами тяжелого труда: ее стройные ноги, выпуклые ягодицы, икры и груди словно расталкивали пространство, им хотелось шагать, скользить и катиться вперед. Без одежды она выглядела менее обнаженной, чем раньше. Кожа блестела, словно на нее напылили тонкий слой металла. Раньше ее волосы безвольно ниспадали на спину, а теперь упругой шапкой окружали голову, напоминая головной убор Теджукупапо из перьев попугая. Она стала походить на того воина, который, по словам Теджукупапо, скрывался за ее женским обличем.

Цвет глаз Изабель не изменился — они так и остались серо-голубыми.

— Глаза — это окна духа, — сказал шаман. — Когда твоя душа станет черной, глаза твои тоже почернеют. Теперь тебе придется искать защитника, — предупредил он ее на прощание. — Ты больше не Майра. В твоей коже нет больше колдовской силы.

— Твое колдовство, Теджукупапо... Ты уверен, что оно сработало и там?..

В присутствии Ианопамоко Изабель стеснялась говорить о чуде, которого просила. Она знала, что индианка не одобряет его. Теджукупапо прочел ее мысли. Устало откинувшись в гамаке, ондохнул пивным перегаром и потряс маракой.

— Я же говорил тебе: когда оттуда что-то перемещается сюда, что-то отсюда должно переместиться туда. — Он казался старым дикарем, ленивым и побитым.

— Прежде чем я навсегда покину тебя, Теджукупапо, ответь мне на мой последний вопрос. Твой народ страдает. Его грабят и насилуют; умирают целые племена. В конце концов ружья и болезни белого человека достигнут и этой горы, принеся с собой христианство и порабощение. Почему ты и другие шаманы не борются с их наступлением?

Колдун что-то быстро сказал Ианопамоко, настолько быстро, что Изабель не поняла ни слова, и оба индейца рассмеялись, как дети, отворачиваясь и пряча рты.

Нежный голос Ианопамоко перевел его слова:

— Он говорит, что прошлое нельзя изменить, а прошлое и будущее похожи на корни и ветви одного дерева. Он говорит, что колдовство может принести пользу только плоду этого дерева, да и то лишь тогда, когда плод срывается с ветки и летит вниз.

Не сводя воспаленных глаз с лиц обеих женщин, Теджукупапо

поднял мараку правой рукой, а потом уронил ее, и она с резким шумом упала в его левую руку. Так же стремительно, говорил его жест, проходит и жизнь, и никакое колдовство не успевает изменить ее направление.

Снова становище

Во время семнадцатидневного путешествия назад сельва щедро одарила их своими плодами и орехами; в зеленых сумерках женщины скользили по едва заметным тропинкам под крики обезьян и попугаев, лающие вопли туканов — птиц с непомерно большими клювами, и шипение гоатцинов, у которых на кончиках крыльев забавные коготки, и девушка-индианка страстно и трепетно ласкала в своих объятиях черное гибкое тело Изабель, но страсть ее была рождена предчувствием беды.

Ианопамоко словно бы усохла, и ее женственность стала более хрупкой, задумчивой, что подчеркивалось грациозностью тонких рук и ног и коричневого, лишённого талии туловища. Иногда Изабель уставала играть мужчину, хотя ее и вдохновляла эта роль более сильного; ей нравилось шагать вперед в своей новой коже и, не чувствуя усталости, помахивать длинной легкой пикой, которую ей подарили на прощание индейцы племени, живущего на вершине горы; Ианопамоко шла следом, неся в притороченной за спиной корзине небогатые пожитки и припасы.

Когда на шестнадцатый день путешествия они вышли к реке, стан бандейрантов на противоположном берегу казался зловеще тихим. Там, где раньше стояли навесы, теперь сквозь заросли виднелись обломки и обожженные столбы. Было уже поздно, скоро и вовсе стемнело. Одиноким факел сновал во мраке на том берегу, да пару раз через бесшумно скользящую реку до них донесся чей-то крик.

Украденное ими во время побега каноэ лежало там, где они его спрятали, в зарослях низкорослых пальм, и Ианопамоко, снова приняв на себя руководство походом, настояла на том, чтобы они бесшумно спустились на каноэ вниз по течению, туда, где кончались возделанные поля, и только там пересекли реку. Позже, утром, она проберется через поля и разведает, что к чему. Изабель будет дожидаться ее на месте.

— Мои соплеменники защитят меня. Меня они знают, — сказала она, — а тебя они могут не узнать.

— Антонию разгневаются на тебя из-за того, что ты сбежала. Я хотела защитить тебя, избавить тебя от его гнева. — Изабель решила объяснить поход к шаману желанием вылечить слабоумие их сына, а затем, спустя некоторое время, притвориться, будто замечает в ребенке признаки ума и энергии.

Ианопамоко коснулась плеча Изабель и провела пальцем по ее руке до самой кисти, чтобы напомнить ей о новом цвете кожи.

— Милая госпожа, боюсь, теперь твое покровительство мне не поможет. Ты забываешь о том, как изменилась твоя внешность. Увидев тебя, они тут же решат сделать тебя рабыней, если только они не убьют тебя сразу, — приняв за демона. Если пожиратели броненосцев чего-то не понимают, то они это уничтожают. Именно ограниченность их христианской вселенной наделяет их чудовищной силой и яростью. Эту ночь мы проведем вместе, а рано утром я разузнаю, что случилось в становище.

Похожая на статуэтку девушка — узоры на ее коже поблекли за время путешествия — всю ночь осыпала тело Изабель ласками — так нежные капли дождя омывают листья деревьев. Когда Изабель

проснулась на рассвете, тело ее было покрыто росой, а Ианопамоко и след простыл. Солнце прошло половину пути до зенита, а Ианопамоко все не возвращалась. Изабель начала осторожно пробираться с копьем в руке по краю посадок маниоки и бобов, туда, где прежде стоял дом для собраний, а теперь остались только зола и головешки, кучи пальмовых листьев и тыкв да сладковатый запах смерти. Несколько трупов индейцев, зарубленных мечами и изуродованных дикими животными, пролежали на солнце столько, что походили скорее на куски копченого мяса, чем на людей; на утрамбованной подметенной площадке между общим домом и домом Антониу Изабель обнаружила труп Ианопамоко с отрубленными руками. Озерцо красного цвета, в котором лежало изуродованное тело, еще не успело подсохнуть и походило на открытый цветок, чья красная сердцевина отражает небо. Кто бы мог подумать, что в маленьком теле Ианопамоко столько крови? Взбудораженное облако песчаных мух и глазолизгов торжествующе гудело на сворачивающемся озере. Насекомые облепили изящное плоское лицо Ианопамоко и ее открытые глаза, покрывая его причудливым меняющимся узором.

— Чудесны дела твои, Господи! Никак, черная девка, — прогудел за ее спиной чей-то баритон. Изабель обернулась и увидела Жозе Пейшоту; шляпы на нем не было, лицо его полыхало от солнечных ожогов и лихорадки, и он приближался к ней, занеся палаш. Его стеганая кираса разваливалась на куски, из нее комьями сыпалась вата; он настолько похудел и постарел от перенесенных лишений, что стал похож на старшего брата. Изабель подняла пику, но он отмахнулся от нее палашом, перерубив древко так близко от ее лица, что она почувствовала на щеках холодное дуновение ветра.

— Что привело тебя сюда? — спросил он. — Не вступила ли ты в подлый сговор с моим мерзким братцем? Ты черна, как молоко готтентотов, но глаза у тебя странно голубые. Ты дьявол, хотя в твоем взгляде и есть что-то знакомое. Мерзость! Эти проклятые индейцы, сколько их ни руби, все равно лезут на нас; это они запустили в наши ряды своих дружков из ада, хотя мы заботились только об их вечном благополучии, проклятые твари!

Он пьян, поняла Изабель, от усталости и отчаяния, а может, и от кашасы. Индейской крови его матери явно не хватало, чтобы одному встречаться лицом к лицу с ужасами дикой природы. Он рассуждал вслух, как человек, с которого спали чары и он увидел еще более темное и страшное колдовство. Взгляд его мутных глаз остановился на Изабель.

— Негринья, за тебя в Баийи можно было бы выручить тысячу рисов, — решил он, — но все живые существа стали мне врагами. Прежде чем я очищу свое сознание от твоего загадочного образа, ты сослужишь мне службу и облегчишь мои тугие чресла. Не опуская правую руку с занесенным клинком, он начал, копаясь, расстегивать пояс на кожаных бриджах.

Изабель попыталась заговорить, но ужас сковал ей горло.

Отвратительная вонь ударила ей в лицо изо рта Жозе, когда тот шагнул поближе и произнес:

— Клянусь Богоматерью, шевельнись только, и я отрублю тебе руки, как той ведьме. Назло сатане ты отправишься в ад с полным лоном и крепким христианином в утробе!

Сердце Изабель билось так, что едва не выскакивало из груди, она никак не могла решить, поддаться ли, а потом, когда он расслабится,

улизнуть, или попытаться прямо сейчас выскользнуть из-под удара палаша Жозе. Он тяжел, как мачете, и опустится не сразу. Негодяй наконец расстегнул пряжку и выставил грязную серую шишку, пухлую и короткую, как у маленького Саломана, и такую же вялую. Смущение промелькнуло на его зверском лице.

— Ложись, дрянь! — рявкнул он.

От его половых органов исходил запах лежалого сыра. Изабель приказала себе опуститься на колени однако прежде чем ее дрожащие ноги повиновались, высокий белый бородатый мужчина возник позади Жозе, послышался свист, треск пробитой кости, и какое-то орудие на длинной ручке вошло в череп бандейранта. Жозе упал к ее ногам и забился в судорогах, как рыба на песке. В орудии убийства Изабель узнала ржавое тесло, которым выдалбливали каноэ, но кто был ее спаситель, этот белый мужчина с высоким лбом, стройной фигурой и печальными карими глазами? Она не знала его. Возможно ли это? Борода его была белесой и курчавой, но рот под усами был тем самым хорошо знакомым ей печальным и решительным ртом Тристана.

— Тристан! — тихо воскликнула она и, чтобы не упасть в обморок, опустила на колени.

— Ах ты черная шлюха, — произнес белый человек, — ты чуть было не отсосала у негодяя, — и вlepил Изабель такую пощечину, что она повалилась на песок рядом с телом бандейранта. В нескольких сантиметрах от ее глаз из ужасной раны Жозе вытекали алые мозги, похожие на комки рисового пудинга в свекольном соусе. Глаза у Жозе закатились, как у Христа на распятии, которое висело над кроватью Антониу. Над его трупом уже начали роиться мухи. Как только они садились, их маленькие вращающиеся головки деловито наклонялись, и мухи принимались пить соки свежего трупа.

Невыносимые противоположные чувства — отвращение, ужас, изумление и облегчение — переполнили Изабель, и она зарыдала. Взгляд мужчины словно омывал ее дождем — так прошлой ночью омывали ее нежные прикосновения Ианопамоко.

— Откуда тебе известно мое имя? — Голос ее любимого стал немного выше, зернистее и мягче, в нем появилось небрежное равнодушие голоса белого человека, который знает, что к нему прислушиваются. Он попытался извиниться за пощечину. — Ублажив его, ты продлила бы свою жизнь на пять минут, не больше. Лучше умереть чистой. Когда твой народ станет наконец гордым? Та девушка-индианка плюнула ему в лицо, но не сдалась.

Перестав плакать, она пристально посмотрела на него; в глазах ее сверкал гнев.

— Тристан, как ты мог не узнать меня? Я решила сделать себя черной, чтобы ты стал белым. Шаман, живущий далеко на западе, там, где вершины гор покрывает лед, сотворил это чудо.

Он опустился перед ней на корточки, и она увидела перед собой бугорок его початка, скрытого под заношенными, старыми пляжными шортами; он коснулся ее волос, ее блестящего плеча, провел рукой по талии, приласкал гладкий бок и мускулистые бедра.

— Это ты, Изабель? — Он оцупал дрожащими пальцами ее полный рот и вертикальный фиолетовый бугорок посередине верхней губы. — Да, это ты. Это твои глаза.

Она почувствовала, как в темном пространстве ее черепа — этого театра духа — неимоверно кровавым рисовым пудингом накапливаются теплые слезы.

— Теперь ты будешь любить только мои глаза? Мои прежние холодные глаза? Пусть будет так, Тристан. Можешь не любить меня, просто пользуйся мной. Я буду твоей рабой. Ты уже бьешь меня. Ты уже слишком горд, слишком щепетилен и не хочешь поцеловать меня в губы. Когда у меня был твой цвет кожи, а у тебя — мой, я привела тебя, простого уличного сорванца, жалкого воришку, в квартиру своего дяди, где было больше дорогих вещей, чем тебе довелось увидеть за всю свою жизнь, ты озирался, глядя вокруг огромными, как тарелки, глазами и подарил мне кровь моей девственности, хотя это и причинило мне боль, ужасную боль. Я ведь ни разу не говорила тебе, как мне было больно в тот день. Ты был таким большим и грубым.

— Я не хотел быть грубым. У меня просто не хватало опыта.

Честный ответ заставил ее ответить столь же откровенно:

— Наверное, ты был груб настолько, насколько это было необходимо.

— Мы подарили себя друг другу, — сказал он. — Мы дали друг другу все, что у нас было. Где кольцо с надписью «ДАР»?

— Я отдала его шаману, чтобы ты стал белым и освободился от рабства. Такова была цена, запрошенная колдуном.

Даже зная, что она поступила самоотверженно, Изабель боялась говорить Тристану об этом. Словно не веря своим ушам, Тристан пробормотал:

— Ты отдала кольцо, которое было символом нашей верности друг другу?!

— Я его не отдала, а обменяла. На твою жизнь. Черная кожа сделала тебя рабом в становище, а еще раньше стала причиной ярости моих опекунов.

Тристан задумался и стал поглаживать светлую бороду.

— Это так, милая. Ты поступила благородно. — Он протянул руку и помог ей подняться с песка, на который, как из разбитой тыквы, вытекали мозги Жозе, привлекая сотни, нет, тысячи маленьких гудящих глазолизом, мух пиум, кровососов под названием боррашудос и песчаных мух полвора размером не больше крупы пудры. Они отошли от жадного кусачего облака и уселись на обломках крыльца хижины Антониу.

— Позволь мне рассказать, что со мной произошло. Это очень странная история, — начал было Тристан, но уж слишком сильно была задета гордость Изабель.

— Ну давай. Ударь меня еще раз за то, что я отдала твое кольцо.

Отруби мне руки, как этот отвратительный Жозе отрубил руки Ианопамоко, единственной моей подруги. Ты никогда не был мне другом, а только мужем. Мужчина не может стать другом женщины, настоящим другом. Она научила меня любви. А ты, ты научил меня, как быть рабыней. Избей меня, брось меня, я устала от тебя, Тристан. Наша любовь заставила нас слишком многое вынести.

Он улыбнулся уверенной улыбкой белого человека и даже немного посмеялся над ее словами.

— Чепуха, Изабель. Ты любишь меня. Нам суждено любить друг друга; вне нашей любви мы не живем, а существуем; без нее мы превращаемся в животных, у которых нет ничего, кроме рождения и смерти и непрерывного страха между ними. Наша любовь подняла нас над скукой повседневной жизни. — Он взял ее за руку, и она почувствовала, как сердце ее стало успокаиваться и биться в такт его осторожным словам. — День за днем в течение семи дней чернота

выходила из меня, — сам не знаю почему. Сначала я стал серым, потом белым, как будто моя кожа никогда не видела солнца. Этот дряхлый дурак, твой так называемый муж Антониу Пейшоту, приписал это одной из болезней, которые губили захваченных им рабов. Однако позже, когда здоровье мое нисколько не изменилось и белые убийцы из суеверного страха сняли с меня оковы, твой муж даже превзошел их своей дикостью, заявив, что мое превращение в такого же, как они, христианина — это знамение Божье, призывающее их сняться с места и двигаться дальше. Жозе возразил было ему, что еще не собран урожай маниоки и сладкого картофеля, да и каноэ еще не все готовы, однако Антониу обозвал брата язычником и мятежником, восставшим против доброго короля Жуана и усомнившимся в чудесном знамении, дарованном свыше. Мое преображение, оказывается, было добрым предзнаменованием того, что они все же найдут золотое царство, в котором правит золотой человек, О Дорадо. Остальные присоединились к своему вожаку и шумно призвали двигаться вперед, а поскольку в каноэ хватило места не всем, они перебили женщин и детей и сожгли хижины. Во время бойни я сделал вид, что присоединился к ним, и погнался за одной из индианок, убежавшей в лес, а потом спрятался там и наблюдал за ними издали. Сомнения Жозе оскорбили старшего брата — раздор между ними, скорее всего, назревал давно, — и Антониу приказал своим людям связать Жозе и бросить его в муравейник. Как ты сама могла убедиться, он вернулся оттуда с помраченным рассудком. Последние несколько дней я следил, как он добывает себе пищу среди развалин и буйствует, и спрашивал себя, не заключить ли мне с ним сделку и не сбежать ли нам вместе с Мату Гросу, пока сегодня мне не пришлось убить его. Какое-то наитие подсказало мне, что тебя надо спасти, хотя издали ты казалась лишь никчемной тенью.

— А что стало с моим сыном Саломаном? — спросила Изабель, не в силах преодолеть робость перед этим белокожим и красноречивым Тристаном, хотя ее собственная новая плоть давала ей понять, что где-то в глубинах ее существа, которые она еще даже не начинала исследовать, появилась некая свежая сила. Препрежнее ее преимущество во внешнем мире сменилось сокровенной бессловесной энергией, уверенностью — той пряностью, что делает съедобной даже безвкусную пищу.

Разговор о Саломане явно наводил скуку на Тристана и раздражал его, хотя он по-прежнему был возбужден после недавнего подвига. В лице Тристана ей всегда виделись целые миры, но теперь она разглядела в нем миры будущего, которые соотносились с этим разрушенным, залитым кровью становищем, как роскошная усадьба соотносится с хижинкой первых поселенцев.

— Антониу забрал его с собой, — сказал Тристан. — Он фанатично верит, что бедный младенец — святой, который приведет его в рай, несмотря на все его прегрешения. Саломану не пошла на пользу забота Такваме и ее дочерей, однако он не умер. Я опасаясь за исход их похода, Изабель. Они недалеко уйдут по реке; индейцы научили меня, как, выдалбливая каноэ, сделать днище таким тонким, чтобы оно вскоре дало течь. Они не доберутся до Мадейры.

— Куда уж им с такими каноэ, — сказала она, желая своему исчезнувшему сыну, этой ошибке плоти, едва цепляющейся за жизнь, сказочной выносливости бандейрантов, которые, как рассказывали в школе монахини, возвращались невредимыми из самых невероятных

походов. Она попыталась ощутить тоску матери по своему маленькому глупому сыну, однако вместо этого Изабель вдруг почувствовала острое, злорадное облегчение от того, что наконец-то избавилась от него, причем не по своей воле. Теперь она свободна и может сосредоточить все свое внимание на любимом. В шуме цивилизованной жизни она привлекла и удержала его; теперь она воспользуется величественным одиночеством, чтобы завоевать его еще раз новым колдовством или новыми окрасками старой любви.

Он энергично взялся за дело, чего никогда прежде за ним не замечалось. Казалось, будто его мозг, живущий теперь под белой кожей, превратился в шкатулку с линейной координатной сеткой возможностей, где каждая линия и пересечение линий помогают найти нужное решение, выбрать путь, продумать план. Прежде, когда они решали — покупать или не покупать участок на Серра-ду-Бурако, или когда она вела его в отель в Сан-Паулу, а затем принимала решение уехать со своим похитителем, не оказывая бессмысленного сопротивления, — Изабель руководила Тристаном в мире, который начинался за пределами фавелы; теперь же он строил смелые планы возвращения в цивилизованный мир. Они решили, что не станут покидать становище сразу. Сначала они похоронят трупы, восстановят крышу над бревенчатыми стенами жилища Антониу и дождутся, пока созреют маниока и бобы. Затем запасутся фариньей, которую Изабель столчет своими руками и высушит на солнце, и копченым мясом дичи, которую Тристан добудет с помощью старого мушкета, брошенного бандейрантами, — и только тогда отправятся через шападан, где они однажды уже чуть не умерли с голоду, когда остались одни.

Индейцы, следившие за ними из сельвы, увидев, что наша парочка решила временно поселиться здесь, поняли, что становище перестало грозить им смертью; они снова вернулись и занялись рыбной ловлей; индейцы помогали Тристану и Изабель, когда те просили о помощи, и понемногу растаскивали оставшиеся сокровища бандейрантов. Хотя Изабель и Тристан и научились общаться с индейцами на их наречии, они не пытались зазвать туземцев с собой в обратное путешествие. Им не терпелось испытать себя в борьбе с цивилизацией, а эти низкорослые, нагие, уродующие себя пришельцы из прошлого, с их сопливыми носами и красными от дыма глазами, вспученными животами и постоянной худобой, вызванной кишечными паразитами, казались им школьными товарищами, с которыми пора расстаться — пусть они терпят лишения и умирают без них.

Снова одни

Когда сгоревшую крышу заменили новой, сплетя ее из пальмовых листьев, у Тристана и Изабель появился наконец укромный уголок, где они смогли заново испытать свое супружество. Три года прошло после вспышки сексуальности в промежутке между нападением гуайкуру и спасением в лагере бандейрантов, вспышки, пламя которой было раздуто голодной лихорадкой и романтической близостью смерти. С тех пор Изабель и Тристан ничем не подтверждали свое звание возлюбленных. Теперь же, мало-помалу — ритмы ее тела словно замедлились, а его — стали более возбудимыми и сосредоточенными — они снова занялись возделыванием влажной и текучей пойменной почвы половой жизни. Новая кожа предоставила им возможность для самого нежного в акте любви: переговоров, ибо теперь они являли собой просто оболочки, наделенные сознанием; их душам еще предстояло лепить друг друга заново. Другая кожа принесла с собой

иные железы, иные запахи, новые волосы, другие представления о себе, новую историю самих себя. В ее сексуальности появилось нечто сардоническое, нечто отточенное поколениями черных женщин. От покойной своей белокожей матери Изабель унаследовала главным образом игривость да еще, пожалуй, страх перед родами. Теперь же, получив черную кожу, она приобрела в придачу к ней силу, которую нельзя было назвать просто пассивной: Изабель обнаружила в себе запас свирепой ярости, и стоило тьме опуститься на шуршащий соломенный матрас, который они делили с Тристаном, как она, становясь грубой насильницей, принималась дразнить его. Сквозь крышу хижины проникали лишь узкие стрелки лунного света, и белая кожа Тристана призрачно мерцала во мраке; Изабель уворачивалась от него, поскольку теперь становилась невидимой в темноте. Она подставляла ему неожиданные части своего тела, кусала его за плечи и царапала ему спину, отбросив прочь робкую почтительность, с которой она обращалась с ним раньше. Она знала, что в их отношениях появится оттенок садизма, но никак не предполагала, что сама станет зачинщицей. Он часто становился сосредоточенно-отрешенным, когда лежал с ней рядом или ласкал ее тело, и это питало ее ярость; у нее больше не было того цвета кожи, к которому его влекло; она стала тем, что он сам оставил позади. Его початок вполне удовлетворял ее, но размеры его перестали пугать Изабель; наверное, появившееся в ней внутреннее ехидство уменьшило если не его реальные размеры, то по крайней мере его стихийную суть, его милую брутальность. Его член поизносился с тех пор, как она увидела его впервые в квартире дяди Донашиану; он потерял первобытную чудовищность, вид не то пресмыкающегося, не то земноводного, существа более древнего, чем человеческое сознание. С некоторой печалью она пришла к выводу, что белой женщине отдаваться чернокожему намного приятнее, чем черной женщине отдаваться белому. В первом случае потомок господ колониальной Бразилии испытывал возвышенное ощущение богохульства, восторг политического протеста; в последнем же случае это напоминало обыденную сделку. Неудивительно, что рабыни Бразилии ходили в широких юбках-колоколах, раскачивая бедрами, и игриво крутили зонтиками с бахромой, рождая поколения мулатов — опытных специалистов по размножению. Спать с мужчиной — невеликое дело, или, точнее говоря, лишь часть великого дела: пожалуй, это просто самореализация женщины, но рабыням было легче добиться ее, чем хрупким, затянутым в корсеты, запуганным церковью маленьким пленницам больших поместий, которые никогда не видели мужа голым и смиренно принимали его орган, этот инструмент оплодотворения, а часто и смерти, через отверстие в супружеском покрывале.

И все же, став чуть более суровой в половой жизни, Изабель ощутила новый восторг, когда лежала под сосредоточенными ударами Тристана, стараясь соединиться с его чуткой нервной системой, которая стала более угловатой и менее завершенной, как только он избавился от вечной безнадежности. Вознестись до его системы, не отстать от нее — такова теперь была цель Изабель, которая возбуждала в ней такую страсть, что пальцы ее оставляли на его спине красные пятна, сохранявшиеся до утра. Теперь она боролась за свою жизнь, тогда как раньше сражалась лишь за наслаждение и за освобождение от своего отца.

Сексуальный мир, будучи изнанкой мира реального, в

определенной степени является его инверсией. Раньше, как существо низшее, он оказывался наверху, теперь же господствовала Изабель. Если воспользоваться жаргоном, которым они с Эудошией сплетничали о монахинях в школе, — она стала петухом, а он курицей. — Ты мой раб, — говорила она.

— Да, госпожа.

— Лижи меня, или я побью тебя. — Она замахивалась на него обломком тонкой пики, которую Жозе разрубил палашом. Когда Тристан подчинился ей, она, достигнув оргазма, говорила: — По моему, тебя все равно надо побить.

Тристан любил ее больше, чем когда бы то ни было, — у него голова шла кругом от этой новой любви к ней, которая смешивалась с любовью к своему собственному белокожему существу. Их новые отношения позволили ему наконец в полной мере проявить свою галантность. Он тоже чувствовал, что в его прежней привлекательности было нечто животное. Тристан не мог не ощущать нового бремени, возложенного на его плечи: Изабель потеряла положение в обществе, — это позволяло ей с удовольствием носить ореол мученичества — или бесчестия — занятий проституцией на прииске или положения наложницы в стане бандейрантов. Не будь он чернокожим, разве стала бы она так же небрежно и спокойно изменять ему? По справедливости говоря, Изабель имела право во всем винить его нищету и беспомощность, которые не оставляли ей иного выбора, однако разве не испытывала она определенное наслаждение от своего падения, поскольку причиной того был он, Тристан? Она воспользовалась им, чтобы стать бесстыдной, и отрицала за ним право на такую роскошь, как стыд. Она провела его по богатым улицам Ипанемы и дальше по лабиринту коридоров, в который он никогда не вошел бы без нее. Она снизошла до него, и, следовательно, ее любовь сияла ярче, отдавая жаром самопожертвования.

Теперь же именно он снисходил до нее, принимая чернокожую девку в качестве своей супруги; теперь он испытывал возбуждение и половое облегчение оттого, что возлюбленная не ровня ему по общественному положению и по духу, она просто вещь из живой плоти, привезенная издалека. Вещь, наделенная психологией; поскольку именно психология ведет нашу любовь вперед, углубляя ее, но, в свою очередь, лишь овеществленность дарит нам блаженство, похожее на тяжелую и гибкую руку онаниста. Теперь, когда она обрела цвет земли, влажного отполированного дерева, блестящего дерьма — вместо белого цвета облаков и хрусталя, — тело ее словно бы стало более худым и узловатым, а его округлости и впадины — более рельефными. Теперь Тристану не составляло труда воспринимать Изабель как некую систему пищеварения на ходулях, которой нужно какать, которая любит побегать и так же радуется движениям и свободным испражнениям организма, как и он. Ее заднепроходное отверстие, которое раньше казалось ему отвратительным из-за складки коричневой кожи вокруг него, походившей на несмываемое пятно в шелковистой выемке меж ягодиц, теперь стало нежным полураспустившимся бутонем, почти не отличимым по цвету от остальной кожи, блестящей, словно черное дерево. Поросль на ее лобке стала кудрявой, маслянистой, густой и упругой, а не прямой и бесцветной, как призрачная разновидность ее прежней шевелюры; стоило только ему окунуть в нее нос, когда Изабель седлала его лицо и, усмехаясь, глядела на него из-за торчащих грудей, и член его вставал,

как гофрированный бивень, а она тянулась к нему рукой и больно щипалась. Прежде Изабель обращалась с ним довольно почтительно; теперь же она дерзко заставляла его гоняться за собой, вынуждая его испытывать преступные ощущения насильника, когда она яростно изгибалась и, ругаясь, плевала ему в лицо, и каждый толчок спермы пулей проносился через его уретру. В ней появилась некая враждебность, но он не имел ничего против этого до тех пор, пока ему удавалось справиться с ней и трахнуть ее, выплескал в ее лоно свою собственную освобождающуюся враждебность. Секс — это потасовка, которая в разумном состоянии нам не по душе.

В конце одной из таких яростных схваток она поразила его тем, что улеглась, прижавшись ягодицами к его животу, и, собираясь уснуть, проговорила:

— Может быть, сейчас у нас получилось сделать ребенка.

Тем самым она признала, что не решалась сказать при свете дня: у них никогда еще не было общих детей.

— Надеюсь, что нет, — признался и он. — Только не сейчас. Нам нужно сначала выбраться из сельвы.

— Как только мы вернемся к цивилизации, ты бросишь меня. Ты еще немного попользуешься мной, как шлюхой, а потом найдешь себе другую жену с белой кожей.

— Никогда. Ты моя единственная жена.

— Откровенно говоря, будет подло с твоей стороны, — продолжила Изабель, — бросить меня, после того как я отдала тебе драгоценный цвет своей кожи, но таковы все мужчины. Они пользуются нами, заделывают нам детей, а потом плевать хотят на все.

— Изабель, перестань говорить о беременности, это преждевременно. Психологически мы еще не готовы стать родителями — мы слишком любим друг друга. Я никогда не брошу тебя. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Ты сохранила прежнюю грацию, но в тебе появилось еще кое-что. Прости меня, но, по-моему, сейчас ты обрела свою истинную суть. Ты всегда была черной и только маскировалась под белой кожей. Твои забавные гримасы, то, как ты сгибалась колени, — все это было как у чернокожих.

Она задумалась над его словами, и ему казалось, что она уже уснула, ощущая, как его яростные сперматозоиды толпой пробираются к созревшей яйцеклетке, но вдруг он услышал, как она сказала глубоким голосом, какой бывает у людей на грани сна:

— Я прощаю тебя, Тристан, за то, что ты такой негодяй.

Ему гораздо сильнее, чем ей, хотелось вернуться в город. Вне социума его галантность оказывалась бесполезной. Естественно, ему было не сложно представить себе мысленно, каково будет его новое социальное положение, но ему хотелось убедиться в этом, наяву подтвердить свое новое положение свидетельством других, которые увидят его в элегантной оправе — в смокинге, например. Нельзя сказать, что в Бразилии белый мужчина с черной женщиной выглядит так же вызывающе, как в Южной Африке или в Северной Америке, однако ему представлялось, будто они станут привлекать взгляды посторонних на улице, и это вознесет его любовь на новую головокружительную высоту. Разве здесь, в далекой континентальной провинции красного дерева и сахарного тростника, Португалия не сделала Африку своей женой, не освятив этого брака должным образом? Он будет единственным белым мужчиной, который возведет черную любовницу до своего собственного уровня. В каком-то смысле

он даже вознесет свою собственную мать над фавелой и пьяной нищетой и выдернет ее из лап мимолетных спутников, всех этих отбросов с грязным цветом кожи, стремящихся к чистой белизне безжалостных бандейрантов.

А Изабель, которая осуществила этот обмен цветом кожи, наслаждалась местью своему отцу, который в ее незрелом суеверном сознании презрел жертву, принесенную дочерью, когда она назвала ребенка Саломаном, и позволил ребенку вырасти идиотом. Ее отец, невидимый, но вездесущий, оставался для нее богом. Она представляла себе, как бросит ему в лицо новый цвет своей кожи — это свидетельство ее близости к массам, близости гораздо более крепкой и нерушимой, чем та, о которой она болтала со своими друзьями-радикалами в университете. И все же, как парадоксально это ни покажется (души наши питают противоположности, они жиреют на nive любви и ненависти), она воображала, как отец полюбит ее в ее новой, чувственной коже и как она похитит его наконец у бледнолицей матери, покоящейся в раю.

Так, питая свои умы новыми представлениями о самих себе, представлениями, чьи мощные побег непрерывно возбуждали их нервы, они так часто занимались любовью, что индейцы, воруя клубни кассава с неухоженных полей, показывали на их жилище и говорили друг другу: «Скалы бьются», — имея в виду миф, по которому один из сыновей-близнецов Майры-Монана, Арекут, тот, что был плохим и беззаботным, застрял между упавшими скалами и был возвращен к жизни своим братом-близнецом Тамендонаром, хорошим и мирным человеком.

Борода натирала губы, груди и внутренние части бедер Изабель, и потому Тристан сбрил ее той старой, проржавевшей и затупившейся бритвой, что оставалась с ним все девять лет с тех пор, как он впервые увидел Изабель. Два года она провела с ним на автомобильном заводе, четыре — на прииске, а три последних года он был рабом у этой безымянной реки. Избавившись от бороды, Тристан помолодел; щеки его похудели.

Теперь, когда он стал белым, Изабель часто замечала в нем трогательную хрупкость, которой не было в чернокожем, хотя, быть может, она просто не замечала ее под черной кожей. Теперь он бывал неуклюжим и нерешительным, что, впрочем, не мешало ему оставаться храбрым и верным. Его ранимость восхищала Изабель. В Тристане появилась какая-то внутренняя строгость и сдержанность, и ей очень нравилось поражать его, катаясь по полу во все усиливающейся сексуальной агрессии. Ее клитор будто стал длиннее и крепче, превратившись в упругое копьё с наконечником в виде твердой сверхчувствительной горошины, которой она била его в лицо или лобковую кость, как бьет мужчина, не задумываясь о чувствах другого, так что у Тристана немели губы. Она сама платила за такую грубость, вынуждая его сжимать и бить себя, поскольку побои с его стороны придавали более четкие очертания жившему в ней образу любви, который она боялась потерять в липкой жиже своей души. Когда она была маленькой девочкой, этот образ отдавал ванилью, — кухарка давала ей облизать ложку; в ее детских ноздрях он пах кокосовой присыпкой; острота наслаждения вечно грозила ослабнуть, лишь новые маски и гримасы сохраняли ее. Извращенность, как и целомудрие, есть способ продемонстрировать господство человеческого над животным. Сначала неохотно, потом довольно

страстно Тристан принимал участие в ее сексуальном театре: он связывал ей руки лианами и клал между ними на матрас палаш Жозе, когда они спали, потом потихоньку надевал ей на ноги старые ножные кандалы и тогда обращался с ней, как с беспомощной рабыней. Он кусал ее плечи и впивался в выемку у основания шеи, словно вампир. Нежная головка его члена почти не изменилась по цвету с тех пор, когда он был чернокожим; она была такой же налитой кровью и горячей, как сердце, вырванное из груди живого кролика, и требовала прикосновений ее рта. Контраст между цветами кожи влюбленных был не таким резким, как различия их половых органов, этих двух экзотических цветков, чье развитие пошло по столь разному пути. Верх — низ, агрессивность — пассивность, господство — подчинение, вражда — нежность — Тристан и Изабель наслаждались сменой противоположностей, даря друг друга усталостью и сонным чувством единения с вселенной.

Снова Мату Гросу

Наконец наступило время выкапывать клубни маниоки, молоть их и печь соленые лепешки, а затем отправляться в путь. Опасаясь нападений гуайкуру, они решили пройти севернее прежнего своего маршрута и ориентироваться по восходящему солнцу. В это время года по утрам и ближе к вечеру шел короткий, но сильный дождь. Потоки воды ослепляли их, но скоро прекращались, и все гладкие поверхности вокруг них — листья, земля — парили и сверкали на солнце, как здоровая кожа.

Возможно, они просто шли новым путем, однако широкие просторы выжженного плоскогорья казались более послушными, чем в тот раз, когда их вела Купехаки. На вторую неделю путешествия Изабель оставила печальную, нереальную надежду встретить всадников гуайкуру и увидеть среди них Азора и Корделию, голых, раскрашенных и увешанных бусами, но живых. На третью неделю Тристану и Изабель стали попадаться фермы: первой на их пути оказалась приземистая хижина с белеными стенами и красной крышей, в которой жила супружеская пара — высокий и худой мамелюк в мешковатой одежде пеона и робкая босоногая индианка тупи, — которая содержала хозяйство с курами, свиньями и оборванными ребятишками и ухитрялась возделывать несколько огороженных плетнем из колючего кустарника для защиты от диких свиней и скота богачей, бродившего по шападану, акров земли, засаженных табаком, пшеницей, хлопком и соей. Какими бы они ни казались бедными — ближайшая засуха могла разорить семейство, — фермеры дали Тристану и Изабель немного риса, бобов и пинги и позволили им провести ночь в сарае на роскошной перине из необмолоченных колосьев, где каждая попытка заняться любовью оканчивалась глупым смехом, поскольку они проваливались в колосья, не находя под собой опоры.

По дороге на восток ферм стало больше, и они были богаче, а между ними появились пыльные маленькие городки, где наша супружеская пара могла пополнить свои средства поденной работой. Предполагалось, что Изабель, как негритянка, умеет стирать белье; она волокла в корзине простыни и нижнее белье местного мэра или торговца скотом и муслиновые рубашки их разжиревших жен к журчащей речке и отбивала белье дочиста на плоских камнях при помощи щелока, от которого у нее испортились ногти, а кончики пальцев становились шершавыми, как песчаник. Для Тристана с его

властным взглядом, широкими плечами и внушительным белым лбом нашлась более важная работа: спустя несколько дней бесполезных, но гордых прогулок по городку местный адвокат доверил ему доставку записки клиенту, живущему километрах в полтора от города, а один торговец сначала предложил ему поработать грузчиком на складе, где хранились бочки, мешки и железные инструменты, а затем, убедившись в грамотности Тристана и поверив его честному и прямодушному виду, он позволил ему занять место за прилавком и распорядиться полками, чашками и весами. Местная швея, пожалев потрескавшиеся руки Изабель, пригласила ее наносить швы — сначала с изнанки, а позже и с лицевой стороны. Уроки домоводства были поставлены в монастырской школе основательно, так что швее оставалось только удивляться, откуда у простой чернокожей девушки такая ловкость рук и такие дерзкие манеры. Все это происходило в маленьком городке на склонах Серра-ду-Томбадор, где улицы зигзагами карабкаются по склонам холма, а тротуары поднимаются уступами вдоль мостовой, по которой тащатся телеги и стекают сточные воды и потоки дождя.

И в других городках дальше к востоку для Тристана находилась работа: в одном — подручным у кузнеца, в другом — в автомобильной мастерской, поскольку на пыльных дорогах далекой провинции автомобили медленно приходили на смену повозкам, запряженным лошадьми. Где бы ни работала наша супружеская пара, живостью своего поведения и добротой она сразу располагала к себе окружающих, им не раз предлагали поселиться в городе навсегда, да и будущее, ожидавшее провинции, было достаточно радушным, поскольку сертану суждено было развиваться и дальше. Восстанавливая мышцы, накачанные тяжелым трудом на прииске, Тристан некоторое время работал в строительной бригаде, что укладывала подушку из щебня для нового шоссе, которое тянули в многообещающий, но не развитый регион.

— Дороги — будущее Бразилии, — повторял каждый день их бригадир, словно жрец нарождающейся религии, как бы компенсируя этими словами боль в мышцах и скромную зарплату — ее выплачивали денежными знаками, терявшими свою цену тем быстрее, чем цивилизованнее становились эти края.

Когда они добрались до настоящих городов, начались приключения. Изабель нашла наконец ювелирный магазин, управляющий которого смог оценить тонкую работу древнего ювелира, создавшего крест дяди Донашиану. На остальных торговцев древняя святыня наводила тоску, а у этого загорелись глаза. Он был пардуваску — сын негра и мулатки — темный, как эфиоп, с раскосыми глазами и лысеющим лбом. Он вступил с ней в сговор против незримых владельцев своего заведения, каких-то японских агропромышленников, живущих в далеком Рио-Гранде-ду-Сул, и предложил ей десять тысяч крузейру — невероятно щедрую сумму, как он божился, за ничем не примечательный крест колониальной эпохи.

— Однако должен признаться: я не просто хладнокровный специалист, изучающий религию, я страстный последователь сразу нескольких религий. Вы уязвили меня в мое слабое место, маленькая госпожа, — сказал он, а потом предложил ей провести с ним в его комнате над магазином обеденный перерыв, продолжавшийся с часу до половины пятого.

— Сколько я стою? — откровенно спросила она; с белой кожей

она вряд ли отважилась бы на это.

— Я накормлю тебя великолепным обедом, — пообещал ювелир, — и мы послушаем мои новые пластинки из Баийи.

— Не искушай меня, — нахально заявила она, имея в виду одновременно и деньги, и свое нетерпеливое желание остаться с ним наедине. После долгой жизни с белым мужем и попыток удовлетворить его чудную белую психику Изабель решила, что имеет полное право перепихнуться с мужчиной, у которого цвет кожи почти такой же, как у нее. — Сто крузейру, — назвала она свою цену. — По-моему, я стою одной сотой этой безделушки — она выслушивает молитвы, но не отвечает на них. Я же отвечу на все твои молитвы, если только они не будут слишком неприличными.

Он разыграл возмущенное изумление и в конце концов снизил цену до восьмидесяти пяти крузейру, которую он присовокупил к цене купленной драгоценности, переложив, таким образом, свои расходы на далеких агропромышленников.

Яркая утварь теснилась в его комнате, словно растения в джунглях, по которым Изабель шла с Ианопамоко. Там было множество кричаще размалеванных статуэток, изображавших всех католических святых: Деву Марию, ее младенца, распятого Христа, святого Себастьяна, утыканного стрелами, святую Екатерину с колесом прялки, Папу Римского в белом одеянии, того самого, который носил маленькие очки и умер от икоты, — а также гипсовые идолы кандомбле[15], бежевые бюсты Элвиса, Бадди Холли, Литл Ричарда и других бессмертных янки из мира рок-музыки. Здесь же находились золоченый Будда и покрытая черной эмалью статуэтка Кали с ярко-красным языком и ожерельем из черепов. Этот пардуваску в самом деле жил ради своих религий, и это оскорбило Изабель. Она не верила в мужские качества человека, если тот не был готов сделать ее саму единственным предметом поклонения.

Вместо того чтобы немедленно заняться любовью, ювелир заставил ее послушать последние записи музыки афоше, объяснив ей, что стиль афоше — самый африканский из бразильских стилей в музыке, и он очень близок к кандомбле; в него вдохнули новую жизнь ямайский стиль регги и всеамериканское движение черного сознания. Он дал ей покурить травки, но этот наркотик не произвел такого же космического эффекта, как яже Теджукупапо. Их занятия сексом, когда они наконец принялись за дело, показались ей обыденными и пресными по сравнению с тем, что вытворяли они с Тристаном. Этот мужчина не любил женщину до самоуничтожения. Изабель уже была избалована — другие мужчины не производили на нее впечатления. Тем не менее она несколько раз возвращалась к этому ювелиру по имени Олимпиу Сипуна, в его комнату, заполненную огарками свечей, и клала вытянутые из него деньги на счет в банке, где годовой процент перекрывал темпы инфляции.

Изабель с Тристаном шли дальше на восток, и дикая саванна, в которой способны выжить только индейцы, сменялась сначала вольными пастбищами, затем огороженными фермами, а позже и небольшими группами субсидируемых правительством промышленных предприятий, и чем дальше они продвигались, тем больше нуждались в капитале. Им понадобились одежда, обувь и деньги на оплату жилья и обеды в ресторанах. Провинциальный городок под названием Бунда-да-Фронтейра лишь недавно избавился от дощатых тротуаров, деревянных фасадов и кольев, к которым

привязывали лошадей, местные мужчины только с недавних пор перестали носить оружие. В окнах парикмахерских и на стенах здания местного исторического общества висели фотографии, изображавшие суд линча и картинки из колониальной светской жизни. Немецким и шведским туристам, которые приезжали сюда целыми автобусами, повсюду предлагались индейские сувениры, причем чаще всего это были украшения из перьев племени эрикбацас. Целыми оравами стали наезжать канадские рыболовы, которые отправлялись опустошать воды рек Арагуайя и Шингу. Туристские гостиницы и дома местных зажиточных граждан оборудовались всеми удобствами. В городе строились десятиэтажные административные здания с кондиционерами; на шести городских перекрестках были установлены светофоры, а воду, текущую из крана, сделали пригодной для питья; на окраине города появился торговый центр.

Изабель, имевшая опыт работы портнихой в провинциальном городке с крутыми, мощными булыжником улицами, устроилась в магазин готовой одежды, где сначала подгоняла купленные платья, а затем, благодаря приятной наружности и обходительности, была переведена в продавщицы. Тристан же стал вышибалой в только что открывшейся дискотеке под названием «Мату Гросу Элетрику». Впрочем, главным в его работе было не выгонять перебравших кокаина наркоманов или слишком наглых торговцев наркотиками — нет, ему нужно было решить, кого из толпы, собиравшейся каждый вечер на тротуаре под сверкающей вывеской, можно впустить в дискотеку. Было в этом занятии что-то от искусства составления букета или изготовления салата, ибо особого эффекта карнавала можно достичь лишь при помощи точно выверенного многообразия. Неплохо бы впустить несколько разряженных трансвеститов, но, если их будет слишком много, они распугают обычных людей; желательно также разбавить компанию несколькими пузатенькими искателями развлечений, дабы придать солидность и историческую перспективу толпе танцующих, однако преобладать должна молодежь, смазливая девчонка в искрящейся мини-юбке и прозрачной кофточке была желанной гостьей, если только ее не сопровождал коренастый, беспокойный, бесполой сутенер. Если хочешь сделать из дискотеки небольшой рай, нужно, чтобы тревога и жажда заработать деньги оставались за порогом. Вымогатели, откровенные созерцатели женских тел, чересчур хамовитые искатели приключений не должны попадать в дискотеку. Тристан окидывал взглядом толпу страждущих проникнуть под белое сияние вывески «Элетрику», выискивая чистых сердцем людей. Можно было пустить и бедняков — но только нескольких, чтобы зажиточные люди не ощущали дискомфорт и чтобы вечер не омрачали классовые стычки и революционные жесты. Революция осталась позади, в шестидесятых. Наступили семидесятые. У вакханалии должен быть привкус аполитичной невинности. Черных, к сожалению, часто приходилось оставлять за порогом, поскольку они приходили в таком количестве, которое намного превышало истинные пропорции представительства негров в населении Бунда-да-Фронтейра, где цвет кожи граждан был относительно бледным. Белые — бранкелу — должны чувствовать себя членами многорасового общества, но они не должны ощущать себя меньшинством. Дискотека — это вам не батук, не карнавал где-нибудь в Конго. Психоделические эффекты в дискотеке должны создавать ощущение экстаза, лишённого опасностей и извращенности, в нем нет места грязным последствиям

общественного зла, здесь необходим свежий воздух, где люди с тонким вкусом могут встречаться друг с другом и расширять круг своих знакомств. Стробоскопы, цветные лазеры, легкий дымок углекислоты, ненавязчивая ритмичная музыка и водянистое шампанское ласкают чувства и подстегивают страсти, превращая их в подобие красивого плюмажа — но в меру, ни в коем случае никого не отпугивая. Вечернее представление, человеческие компоненты которого Тристан отбирал все более опытной рукой, не должно быть грубым, его нельзя отдавать на милость безжалостным любителям покрасоваться и профессиональным эксгибиционистам. Высокий рост Тристана, большой белый лоб, властный взор и широкие жесты, которыми он отбирал людей из задних рядов толпы, его благородная сдержанная улыбка — одобрительная или извиняющаяся — сделали его таким верховным судьей и даже подобием звезды ночного Бунда-да-Фронтейра. Его наниматели, гангстеры местизу с лицами, изуродованными оспой, сами не могли показываться на публике, поэтому когда через пять месяцев он объявил о своем намерении уйти, они предложили повысить ему зарплату и увеличить его долю в прибыли.

Теперь они с Изабель накопили достаточно денег, одежды и городской мудрости, чтобы отправиться в столицу, но не на автобусе, а на самолете DC-7, который меньше чем за час доставил их в Бразилиа.

Их путь в столицу из становища на берегу реки длился почти год.

Снова Бразилиа

Восемь лет прошло с тех пор, как Изабель училась здесь в университете и они с Тристаном лежали среди диких банановых пальм на разделительной полосе одного из столичных шоссе. Отец ее покинул пост посла в Афганистане, где Мухаммеда Захир-Шаха свергла группа молодых офицеров, все больше подпадавших под влияние Советов. Воинствующие исламисты поднимали голову, и в Центральной Азии назревали серьезные беспорядки; Саломан был рад возможности уехать оттуда. Теперь он служил Большим Парням в должности заместителя министра развития внутренних регионов и имел просторный кабинет в мраморных полях Паласиу ду Планальту. Когда отец поднял телефонную трубку, голос его показался Изабель постаревшим, прежние сила и величие отца словно увяли — а может, просто сама она, закаленная лишениями и любовью, стала наконец взрослой? Ей уже двадцать девять лет, и как-то, расчесывая свою объемистую шевелюру, она заметила несколько седых кудряшек. При определенном освещении руки ее выглядели узловатыми, и кожа под подбородком немного обвисла. Отец не стал спорить или возражать, когда она твердо сказала ему:

— Папа, у меня все в порядке, и это не плод твоих стараний. Я хочу зайти к тебе, чтобы ты наконец познакомился с моим дорогим мужем.

Пауза на другом конце провода была недолгой, возможно, отец, как подобает дипломату, просто подбирал нужные слова.

— Дорогая моя, я буду рад нашей встрече. Я очень скучал по тебе и провел много бессонных ночей, тревожась о тебе и думая о том, что с тобой и где ты. Знаю, что ты была женой старателя на Серраду-Бурако, известие об этом застало меня на другом конце света, но потом ты словно сквозь землю провалилась!

— Мы не уезжали из Бразилии, — холодно ответила она.

— У тебя изменился голос. Или он всегда был таким... гортанным?

— Отец, люди меняются. Дети вырастают. Теперь у меня такой голос. Мы не нарушим твоих планов, если приедем к тебе завтра в шесть часов? Об обеде не беспокойся. Чая или коктейля будет вполне достаточно.

Она говорила резковато, отчасти потому, что Тристан лежал рядом на кровати и слушал. Когда она повесила трубку, Тристан сказал:

— Этот человек захватил нас в плен, а потом послал человека убить меня; а я теперь должен вежливо разговаривать с ним?

— Ты стал другим, — ответила она. — Судя по голосу, папа тоже изменился. Он постарел, в его голосе больше печали. Скорее всего, он и в самом деле скучал без меня. В прежние годы ему некогда было стать для меня настоящим отцом.

Изабель примеряла платье почти так же долго, как тогда, десять лет назад, перед встречей с Шикиниу — и наконец выбрала яркое шелковое платье с объемистыми разрезными рукавами, которые подчеркивали грациозность стройных черных рук. Раньше в подобном наряде она выглядела бы бесцветной.

Квартира отца в белом небоскребе с остекленными балконами на Эйшу-Родовариу-Норте показалась Изабель куда менее впечатляющей, чем в прежние времена, когда она была впечатлительной студенткой. На смену парочке слуг — высокому и мрачному мужчине с зеленовато-коричневой кожей и его пухлой и смуглой супруге, с которыми она в свое время была на короткой ноге и от кого зависела во время частых отлучек своего отца, — пришел ловкий худой коротышка, весь в веснушках, с чудовищными оранжевыми кудрями растамана, напоминающими корзину спутанной пряжи. С дерзким поклоном он впустил Тристана и Изабель в прихожую. Пока они ждали появления отца, Изабель поняла, что квартира действительно стала меньше, потому что это другая квартира. Тибетское танка, подставка для парика эпохи Людовика XV, фарфоровая ваза эпохи Чин, японские гравюры и статуэтки Догонив никуда не делись, к ним даже прибавились каракулевый ковер и массивный медный кувшин, которые, наверное, приехали из Афганистана. Однако теперь вещи эти как-то сгрудились, вокруг них уже не было пространства, которое так подчеркивало их красоту. Сейчас эти предметы напоминали собравшуюся публику, нервозную вечеринку в тесном помещении. Здесь не было длинного коридора, по которому она каждый вечер тащила с набитой учебниками сумкой, и окна гостиной выходили не на озеро Параноа, а на куда менее живописную Родоферровиарию. Наверное, карьера отца, казавшаяся во всех отношениях беспредельной в годы правления президента Кубичека, теперь, во времена сменяющихся друг друга генералов, достигла своего потолка: его стали назначать послом в развивающиеся страны, а его нынешняя должность в правительстве не только заставляла его заниматься внутренними проблемами страны, но и говорила о том, что его начали забывать, как забыли о вверенной ему глубинке страны.

Саломан Леме вошел в комнату. Он постарел, хотя его маленькие узкие ступни в мягких кожаных тапочках по-прежнему резво скользили по ковру. По такому торжественному случаю он надел пиджак с желто-коричневыми лацканами и брюки в узкую полоску, с острыми, как клинок, стрелками. Редущие волосы уже походили на призрачный нимб над морщинистым лбом, мешки под глазами

увеличились, оттянув нижние веки и обнажив пронизанную нервами изнанку кожи.

Может, ей только показалось, что когда отец снова увидел ее через восемь лет, под глазом у него дернулась маленькая мышца. Как бы там ни было, он решительно отбросил прочь досаду, и тапочки его без всякой паузы продолжили свой путь по каракулевому ковру; губы, которыми он коснулся сначала одной щеки дочери, а потом другой, были прохладными.

— Мое прекрасное дитя, — сказал он и нежно обнял за плечи, чтобы получше разглядеть ее дерзко вздернутое личико.

— Отец, это мой муж — или жених, — называй, как хочешь, Тристан Рапозу.

Одного только взгляда на отца было достаточно, чтобы голова у нее пошла кругом и она вновь почувствовала себя избалованной девочкой.

— Очень рад, — сказал отец, пожимая бледную мускулистую руку Тристана.

— Я тоже, сир, — сказал Тристан, даже не пытаясь ответить на неуверенную улыбку старика: Изабель показалось очень трогательным, как обнажились пожелтевшие от возраста маленькие округлые зубки отца — даже более мелкие, чем в ее воспоминаниях, но когда она увидела, как двое мужчин оценивают друг друга, ее аж замутило от страха.

— Судя по акценту, вы кариока, — заметил отец.

— И по рождению, и по воспитанию. Моя семья жила на склонах Морру Бабилониа. Домик у нас был так себе, но вид на море — великолепный.

— Я уже плохо помню Рио, — сказал дипломат, — хотя моего брата невозможно вытащить оттуда: он сидит в этом городе, как рак-отшельник в брошенной раковине. Моя жизнь в Рио практически закончилась, когда столицу перенесли в Бразилиа.

— Этим смелым решением должна гордиться вся страна, — несколько напряженно сказал Тристан, не обращая внимания на тактичный намек старика, что он может сесть в любое из мягких кресел.

— Я в этом сомневаюсь, — продолжил Саломан, усаживаясь в бежевое, обитое бархатом кресло с широкими подлокотниками, которое, как помнила Изабель, вовсе не было его любимым. Отец предпочитал красное кресло, обитое плюшем, который протерся на подлокотниках и на сиденьях, до цвета красной рыбы. Но в этом кресле теперь в явно напряженной позе сидел Тристан. Она примостилась между ними на длинной белой софе, и у ее колен оказался низкий столик с инкрустацией в виде шахматной доски. Стройная вазочка, чистая пепельница и хрустальное пресс-папье напоминали положение фигур в эндшпиле. — Оно превратило наш прекрасный Рио, — со вздохом произнес отец, — в соломенную вдову, и это лишь укрепило народ во мнении, будто управление страной — нечто далекое и фантастическое, не имеющее к простым людям никакого отношения.

— Со временем, — утешил его Тристан, — развивающаяся Бразилиа поглотит новую столицу, и Бразилиа окажется в гуще жизни. Люди будущего будут спрашивать себя, почему она расположена так далеко на востоке. Когда мы с Изабель путешествовали по Мату Гросу, нас поразило, как бурно развиваются эти края. Вся прелесть

цивилизации, включая автобусы с туристами, потоками обрушиваются на девственную пустыню.

— Это наша головная боль, — подтвердил благородный старик, топнув ногой по белому ковру, — вернее, моя головная боль, поскольку недавно, как Изабель, наверное, сообщила вам, я стал заместителем министра развития внутренних регионов: слово «заместитель» — простой эвфемизм, так как самозванный министр — неисправимый вояка, который интересуется только шпионажем за аргентинцами и парагвайцами и больше всего беспокоится о том, чтобы в их арсеналах не было ни одной такой ракеты или сверхзвукового истребителя-бомбардировщика, которых нет у нас. Он дошел почти до паранойи и воображает, будто Кастро получает всяческие великолепные русские штуковины, а мы из-за наших связей с империалистами запада не имеем к ним доступа. Что будете пить? В комнату с грациозностью танцора бесшумно вошел слуга, потряхивая оранжевыми кудрями. Изабель попросила белого вина, не обязательно французского, но только не чилийского и не австралийского, отец широким жестом заказал джин и две луковицы, а Тристан из пуританских побуждений попросил лимонаду. Изабель подавила шевельнувшийся было в душе страх, не пытается ли он сохранить ясную голову на случай драки и не нащупывает ли в кармане лезвие бритвы.

— Ах, папа, — нервно вмешалась она в разговор, — не давай развивать внутренние регионы; это просто ужасно, что там делают с индейцами!

Отец повернул к ней свое непропорциональное большое лицо и ответил ей голосом, в котором отчетливо слышался упрек:

— Изабель, у нас есть бюро по делам индейцев, которое получает щедрые ассигнования и более чем достаточную прессу. Индейцы, индейцы... Повсюду, где бы правительство ни пыталось что-то делать, они путаются под ногами. Им отводятся обширные земли в бассейне Амазонки, на берегах Шингу и в Пантанале, где они могут радоваться жизни, бездельничать и устраивать грязные набеги друг на дружку ради женщин. Но если говорить серьезно, — и здесь я обращаюсь к господину Рапозу, — то как можно соизмерить интересы сотен тысяч людишек, застрявших в своем развитии на заре человечества, с нуждами прогресса и стомиллионного населения! Берегите индейцев, говорят! Раскайтесь в прежних зверствах! Но разве один невежественный, измученный болезнями индеец стоит тысячи цивилизованных мужчин и женщин? Ответьте мне.

— Разумеется нет, — ответил Тристан. — Но он стоит одного цивилизованного человека, будь то мужчина или женщина, не так ли? Он же бразилец, как и все мы.

Отец Изабель захлопал ресницами, ощутив, что стрела вежливой, но умной реплики попала в цель, и глотнул джина. Он улыбнулся, но с каким-то пустым лицом — таким Изабель отца раньше не видела.

— Вы совершенно правы.

— Папа, — вмешалась Изабель, — мы некоторое время жили среди индейцев, и они относились к нам как нельзя лучше. За редкими исключениями, — добавила она, вспомнив о гуайкуру, которые похитили ее детей. Она, похоже, снова забеременела, судя по всему, от блудливо-религиозного пардуваску.

— Да, дорогая, я в этом не сомневаюсь. — Лощеный политический функционер отмахнулся от дочери и снова обратился к

Тристану: — А что забросило вас в такую даль, господин Рапозу?

Могли бы вы назвать мне свою профессию?

— Я, можно сказать, странствующий рыцарь, — без улыбки проговорил Тристан. — У меня множество профессий. Я занимался горным делом, производством автомобилей и лодок, розничной торговлей, а совсем недавно работал в индустрии музыки и развлечений в качестве управляющего. Сам я ни в коей мере музыкой не владею, и творчество в любом осязаемом виде мне недоступно. Я всегда жил, полагаясь на свою смекалку, а также в определенной степени на свое хладнокровие и безжалостность.

— Тристан! — попыталась остановить его Изабель, взволнованная честностью и смелостью любимого.

— Горное дело, производство автомобилей, — повторил отец, словно подчеркивая важность этих слов. Они что-то означали, были как-то связаны с прошлым, и это взволновало бы его, но, во-первых, алкоголь, текущий в жилах, уже успокоил его нервы, а во-вторых, он хотел, чтобы эта встреча окончилась мирно. Он чувствовал себя слишком старым и усталым и не желал более накликал неприятности на свою голову. Ему ведомы пределы его власти. Саломану хватило фанатиков в Ирландии и в Афганистане.

— Моя дочь, — признался он, — склонна к связям с авантюристами. Когда она училась в университете — в нескольких шагах отсюда у нее была связь с пареньком настолько революционных взглядов, что только вмешательство его богатого отца и добровольная уплата повышенного налога на недвижимость спасли молодого человека от административного наказания. А в Рио во время рождественских каникул она как-то раз... но я, похоже, смущаю ее. Наверное, я сам во всем виноват. Горячая кровь досталась ей от меня. Несмотря на скучную роль посредника и администратора, я тоже, господин Рапозу, шел на авантюры — вы видите вокруг нас трофеи, привезенные мною из различных поездок. Ее дядя — мой брат, — с которым, как Изабель наверняка рассказывала вам, она жила много лет, совершенно иной человек. Это оседлый бизнесмен, который едва ли осмелится уехать с Ипанемы дальше Леблona. Контора, клуб, квартира, квартира любовницы — вот круг его интересов, и он идет по нему день за днем. Когда я прошу его приехать в гости, он говорит, что боится самолетов, что высота, на которой расположена Бразилиа, разжижает его кровь и плохо сказывается на его среднем ухе! Разжижает кровь, подумать только! Он стал похож на дряхлую старуху. И все же, подобно пауку, сидящему неподвижно в центре своей сети, Донашиану держит в своих руках множество нитей. Если вы хотите испытать свои силы на новом поприще, мой молодой друг, и если вы согласны поселиться с Изабель в Сан-Паулу, где сейчас сосредоточен весь серьезный бизнес, то, пожалуй, мы с ним найдем для вас работу, на которой ваш опыт мог бы пригодиться. Каковы ваши взгляды на забастовки?

Тристан взглянул на Изабель и понял, что сейчас она вряд ли может ему помочь, хотя глаза ее и искрятся вином любви.

— Когда я был рабочим, я не бастовал, — ответил он. — По правде говоря, я не могу даже сказать, кто возглавлял наш профсоюз, а кто был директором завода. Я знал только, что у меня спина после работы болит, а у них нет.

— Вы совершенно правы! Эволюция лучше революции, не так ли? Изменения к лучшему должны, разумеется, ощущать все классы,

но скорость их не должна разрушать старую структуру, верно?

— Верно. Структуру нужно сохранить.

— А молодежь называет ее «системой» и ставит это слово в кавычки, будто тыкая пинцетом в какую-то мерзость. Но что есть система, как не продукт развития, порожденный борьбой людей, в которой каждый индивидуум стремится к удовлетворению своих интересов? Разве максимальное удовлетворение ваших потребностей не ведет к максимальному процветанию страны? — И он начал долгий рассказ о себе и своей молодости, когда его жена — упокой, Господи, ее прекрасную душу — была еще жива, а Изабель была маленькой девочкой, как они приехали сюда, в этот город, а вокруг простиралась дикая саванна, и лишь несколько верных древней мечте людей видели будущий город...

Изабель позволила себе отвлечься от разговора, поскольку не раз уже слышала эту и множество похожих на нее историй. Она поднялась с софы. Рюмка на тонкой ножке светилась у нее в руке волшебной палочкой, а сигарета превратилась в волшебный жезл, управляющий воздухом, духами и чувствами. Отойдя к окну, она стала смотреть на кубические силуэты зданий в сгущающихся бархатных сумерках. Горящие параллелепипеды, узкие стрелы шоссе, параболические памятники истории борьбы и раздоров казались ей отображением ее внутренней жизни, ее способности создавать понятия и любить, что тоже было понятием. Двое мужчин за ее спиной любят ее, и потому, услышав, что рассказ отца подошел к концу, а Тристан добродушно рассмеялся последней шутке, Изабель торжественно обернулась, готовая встретить их обожающие взгляды, хотя ее и мутило от страха. Однако они не обращали на нее внимания. Тристан в свою очередь из вежливости стал рассказывать о своей работе, о том, как ему было трудно отличить обычных женщин от трансвеститок, когда он работал швейцаром в «Мату Гросу Элетрику», и как он боялся, что в зале совсем не окажется настоящих женщин, которые часто были менее женственны, чем разряженные мужчины. А однажды ему попался карлик-трансвестит и пришлось решать целую политическую проблему: сколько карликов впускать в зал? Или, точнее говоря, скольких карликов не пускать, поскольку, с одной стороны, сообщество низкорослого населения городка было одним из самых шумных и требовательных, а с другой стороны, клиенты нормального роста все время жаловались, что спотыкаются о карликов на танцплощадке. Они продолжали беседовать и смеяться, и их мужской смех и мужской разговор прыгал с камня на камень, как горный ручей, пока они игриво подначивали друг друга; насмешливый слуга принес Изабель еще бокал вина, отцу джина, а Тристану лимонада. Вино стало давить на ее мочевого пузырь; ностальгическая радость возвращения в столицу, странные ощущения, вызванные в ней голосами отца и Тристана, их смехом, жгли Изабель глаза, и по щекам ее потекли слезы. Она пересекла комнату и на мгновение увидела свое отражение в высоком зеркале, она держалась очень прямо, словно несла на голове кувшин. Тени, скользящие по складкам мерцающего платья, переливались разными цветами. Изабель осталась довольна собой — на рубеже тридцатилетия выглядит она великолепно.

Двое мужчин ощущали присутствие Изабель, словно она была тем магнитом, который свел их вместе. Как только она ушла в ванную,

Тристан тихо и настороженно сказал Саломану:

— Я говорил о себе как о человеке целеустремленном. Так вот: заверяю вас, единственная цель моей жизни — это благополучие и счастье вашей дочери.

Старик, захлопав ресницами, благодарно кивнул собеседнику.

— Я уже говорил, что у нее странные вкусы по отношению к мужчинам. И подобно многим добросердечным молодым женщинам, которые всегда жили в комфорте, она не до конца понимает практические ограничения бразильского образа жизни и его иерархии.

— Теперь она, пожалуй, стала мудрее той студентки, какой вы ее знали раньше. Позвольте мне спросить...

— Да, дорогой друг? — переспросил хозяин, когда Тристан замялся.

— Не заметили ли вы — не знаю, как это сказать... — некоторых физических изменений в вашей дочери?

Саломан моргнул, но промолчал.

Тристан неуклюже продолжил:

— Я имею в виду цвет ее лица. Как вам кажется, не изменился ли он? Видите ли, хотя я и ругал ее, во время наших путешествий она не всегда прикрывалась от солнца шляпой.

Старый дипломат приподнялся на носках, расправил плечи и легкой grimасой подчеркнул значение того, что он сейчас скажет.

Говорил он медленно, будто произносил речь по памяти или на недавно выученном иностранном языке.

— Для отца дочь всегда остается совершенством. Я нахожу Изабель такой же очаровательной, как и тогда, когда впервые увидел ее на руках ее святой матери. Можете не беспокоиться о воздействии солнца на ее кожу: она хорошо переносит загар. Ее мать происходит из андрадийских Гуимаранов, а у андрадийских Гуимаранов еще в Португалии появилась капелька мавританской крови. — Он не сводил глаз с лица собеседника. — Разве вы не согласны со мной относительно совершенства моей дочери?

Тристан заметил, что у него, как и у Изабель, на полной верхней губе имеется небольшой вертикальный валик посередине, но у отца он был несимметричен, и это делало его рот насмешливым.

— Согласен, господин, — твердо сказал Тристан, — я тоже полюбил Изабель с первого взгляда, и благодаря ей с каждым днем моя любовь становится все сильнее. Она не только красива, но и смела, не только смела, но и находчива. В ней я нашел свою судьбу и цель своей жизни — в ней и в моей любви к ней. Она — само совершенство.

Саломан уловил мрачные нотки в голосе мужчины, когда тот возносил хвалу своей жене, но приписал это всем известной меланхолии португальской расы; такой авторитетный исследователь, как Жилберто Фрейр, утверждает, что, если бы ранние колонисты не привезли в Новый Свет африканцев и тем самым не подняли настроение в своих поселениях, вся бразильская затея угасла бы от элементарной тоски. Однако в Новом Свете африканцы так страдали от тоски по дому, что даже придумали для обозначения этого чувства особое слово, «банзу» — черная печаль.

Изабель вернулась из сверкающего кафелем грота ванной комнаты, освежив свою женственность соответствующими жидкостями и духами. Она протянула обоим еще влажные руки, соединяя отца и мужа.

— Я не вижу кольца, — сказал отец, разглядывая ее руку. — Разве

вы, дети мои, пренебрегаете обрядами нашей духовной матери — церкви?

— У меня было кольцо, — объяснила Изабель. — Очень ценное кольцо, но я продала его в такой момент, о котором я вас обоих попрошу меня не спрашивать — иначе вы сочтете это глупостью. Это было красивое кольцо, подарок Тристана, с надписью «ДАР». Мы не знали, что это слово обозначает.

— Если позволите, я могу высказать предположение, — заговорил отец. — Кольцо это указывает на принадлежность к одной из самых священных и тайных организаций янки — ассоциации почтенных дочерей солдат, которые сражались во времена их грязной революции[16]. Выторговать такое кольцо — настоящий подвиг. Однако у меня еще остались друзья в Вашингтоне — Генри Киссинджер еще служит своему президенту, — и я попробую, попробую достать его. Хлопотливый насмешливый тон наигранной скромности дал понять Тристану и Изабель, что ему это удастся. Так Саломан одарил наконец влюбленных своим благословением.

Снова Сан-Паулу

И они зажили счастливо в Сан-Паулу, сначала на квартире в Гигиенополисе, а затем в одном из кварталов Жардим-Америка в двух шагах от Руа-Гренландия, прожив там в общей сложности более десяти лет. Братья Леме сумели выбить Тристану должность в среднем управленческом звене, но не на автомобильном заводе, где он заворачивал болты крепления двигателя перед беззубым улыбающимся Оскаром, а на текстильной фабрике в Сан-Бернарду, одном из так называемых «алфавитных» городков-спутников Сан-Паулу. Фабрика представляла собой огромный цех, где гигантские ткацкие станки грохотали, словно миллион барабанщиков; стук каждого отдельного станка челнока был, конечно, намного слабее металлического грохота автомобильного завода, но челноков было очень много. Поначалу Тристан пытался понять тонкости производственного процесса, разобраться в основах плетения, деталях станков и формах челноков, в различиях между прямым плетением и косым, в том, как различная высота подъема нити основы на утке дает шелк или дамаст, вельвет или бархат, у него голова шла кругом, когда он думал о работе станка со множеством вращающихся конусовидных мотков, управляемых механическим устройством на перфокарте, который ткал полотно с самыми замысловатыми узорами. Как он сумел понять, главным элементом во всем процессе был челнок, переводивший нить во время плетения основы взад и вперед. Он должен был на мгновение останавливаться, поскольку ткачество — это как раз то мгновение полета, когда челнок перелетает от одной кромки полотна к другой, производя «кидку», — если челнока нет, его полет имитируют штырями, фальшивыми челноками и даже струями воздуха или воды, которые переносят нить. Так и в основе нашей жизни лежит сверхъестественный скачок через колеблющуюся расселину. Ткацкие станки чудесным образом стучали и гремели, повторяя кидки челноков и набивку нити с безжалостной скоростью, и все же нити не рвались: материальная вселенная не сопротивляется нечеловеческому ускорению. Разбросанные по фабрике человеческие прислужники машин — томные и разнеженные, как лепешки мягкой глины, казались сторонними наблюдателями, но потом вдруг бросались к станкам, когда кончался яркий конус мотка или останавливался челнок. Работники, большей частью женщины,

повязывали платки, чтобы длинные волосы не попали в безмозглую машину, которая в мгновение ока сдерет с тебя скальп. Одни женщины были индейских кровей, другие приехали в Бразилию с волной японских эмигрантов, третьи — с предыдущей итальянской волной, четвертые принадлежали к различным народам Ближнего Востока — последних огульно называли «туркосами», то есть турчанками. Кроме этого цеха, был на фабрике еще один огромный зал, где шел совершенно иной производственный процесс вязания ткани, который выполнялся станками, сконструированными по совершенно иному принципу: в них основной деталью были хитроумно изогнутые крючки двух типов, один из которых имел маленькую точку вращения — он закрывал петлю и сбрасывал ее. Крючки самых разных калибров, толщиной от карандаша до мышиноного усика, закреплялись рядами или кругами, цилиндрами или дисками и управлялись кулачковыми механизмами, которые снова и снова имитировали движения вязальщиц: крючки сходились и расходились, как зубастые челюсти пираньи, изготавливая полотна или трубы вязаной материи, грубой, как лыжные свитеры, или соблазнительно тонкой, как женское нижнее белье. Следствием попыток понять подробности производственного процесса стали мучившие Тристана страшные кошмары, в которых его преследовали челюсти с миллионами металлических зубов. Впрочем, продолжалось это всего несколько недель; потом он понял, что главное — это уяснить свое положение по отношению к нижестоящим и вышестоящим чиновникам в управленческой иерархии предприятия, а, уяснив, занять именно свою нишу и стать частицей производства. Как тупое животное, которое тем не менее знает, что пища сама к нему не пойдет, персонал фабрики ковылял со своим предприятием навстречу рынку; одновременно правительство взваливало на спину несчастного зверя тяжелое бремя налогов, а инфляция сковывала ему ноги. Одни из управленцев выходили на рынок — это были специалисты по моде, рекламе, оптовой торговле, налаживанию связей с представителями розничной торговли; другие были связаны с правительством, которое собирало налоги, подгоняло механизмы регулирования цен, вводило ограничения по технике безопасности и загрязнению окружающей среды и брало взятки, третьи управленцы работали с инженерами и станками, которые необходимо чинить, переоценивать и заменять новыми, все более автоматизированными и компьютеризованными устройствами. Тристан же, как оказалось, отвечал за рабочих и их союзы.

В нем чувствовалась какая-то социальная пустота, а высокий вдумчивый лоб, неожиданно черные глаза, зрачки которых сливались с ирисами, и осторожные манеры прекрасно подходили для его работы. Хотя он был белым — «клару» — почти сверхъестественно белым, словно кожа его никогда не видела солнца или ее выбелили синькой, у него не было акцента аристократов Сан-Паулу, которых и рабочие, и их лидеры инстинктивно ненавидели. Не было в нем и старушечьего медлительного высокомерия сынков богачей — он, казалось, был ничьим сыном, и это позволяло ему очень серьезно и внимательно выслушивать жалобы рабочих и планы профсоюзов по восстановлению справедливости и уничтожению узких мест в работе, будто он пытался отыскать дорогу в лабиринте, где устоявшаяся система взглядов не могла ему помочь. Вся легальная часть современного мира представлялась ему в виде головоломки, которую он шаг за шагом должен решить. Тристан был терпелив. Он никогда не

обращался с людьми снисходительно. Поскольку когда-то он был одним из них, ему было понятно грубое однообразие работы в цехе, но он не пытался, следуя фашистским приемам, уходящим корнями в правление военных, узурпировать управление рядовыми членами профсоюза. Он всегда ходил в серебристо-сером костюме и рубашке с белоснежным воротничком, как и подобает служащему компании, однако уважение к нему среди рабочих неуклонно росло, в особенности после сидячей забастовки 1978 года на автобусном заводе, которая была подхвачена семьюдесятью восемью тысячами металлистов, — волна забастовок и протестов привела к революционным изменениям в системе оплаты труда, требованиям к технике безопасности, переменам в здравоохранении и к расширению прав наемных рабочих. Массовые собрания громогласно заявили о своих требованиях на футбольных стадионах; оставив корпоративный сговор с хозяевами, штаб-квартиры профсоюзов по приглашению новой, реформистски настроенной церкви переехали из правительственных зданий в собор Сан-Бернарду. Самый прочный бастион в борьбе против коммунизма — обуржуазившийся рабочий класс, и Тристан, в которого буржуазность проникла лишь на толщину кожи, служил чем-то вроде катализатора этого процесса. Его нейтральные манеры и речь напоминали игру актера в телевизионной постановке, и это внушало доверие рабочим, которые, даже не расставаясь с отвратительной нищетой, все больше погружались в атмосферу телевизионных мыльных опер, новостей и викторин. После забастовок 1980-го его текстильная фабрика сохранила в целости отношения между рабочими и администрацией; стало ясно, что прежние классовые бои, которые гнали капитализм вперед, как паровоз с заклинившим котлом, должны уступить господство на земном шаре японской и германской методике построения отношений между правительством, промышленностью и населением страны на основе взаимной зависимости и учета общих интересов. Блестящая победа Танкредо Невеса над военными во время выборов 1985 года, а затем его ошеломляющая смерть в ночь перед вступлением в должность прошли в стучащем и гремящем мире Тристана почти без обрывов нитей. С годами Тристан стал еще более терпеливо (и, нужно признаться, более рассеянно) выслушивать обращения рабочих, а его умиротворяющий такт и ни к чему не обязывающее молчание вызывали ассоциации с последователями Фрейда в психиатрии, чей пациент никогда не излечивается до конца, но получает тем не менее возможность ковылять по жизни под бременем непрерывных страданий. Тристан преуспевал на службе. Он начал заниматься теннисом, бегал по утрам, играл в ручной мяч, катался на парусной доске — преуспев благодаря своей грациозной ловкости и скрытой страсти и на этом поприще. Он даже соблазнил жен нескольких своих коллег по среднему управленческому звену, когда понял, что это тоже предусмотрено правилами игры.

Однако в Сан-Паулу Тристан никогда не чувствовал себя дома. Он знал, как добраться до места работы, знал дорогу к нескольким ресторанчикам да к бунгалу в Убатубе, но в городе так и не ориентировался, обнаруживая то и дело, что снова идет по тому же пешеходному мосту или кружит по одним и тем же улицам. Он никак не мог избавиться от впечатления, укрепившегося в нем во время первого, двадцатилетней давности, приезда в Сан-Паулу, когда ему казалось, что у этого города нет ни границ, ни формы, в отличие от

Рио, где пляжи и округлые, как караван, холмы стискивают улицы в изящные ленты, а на горизонте всегда можно различить неукротенную природу, голые горные вершины или сверкающий под солнцем океан. Когда они с Изабель, как то требовал их нынешний статус, посещали Париж и Рим, Нью-Йорк и Токио, Буэнос-Айрес и Мехико, — то все эти города, если не считать очевидного различия между Эйфелевой башней и Колизеем, казались Тристану продолжением Сан-Паулу, такими же расползающимися бетонно-человечьими лепешками, пожирающими планету. Он с тоской думал о пустынных просторах Мату Гросу, вспоминая дни, когда они с Изабель впервые пересекали это плоскогорье, с его слабым древесным запахом, стаями фламинго, которые волнами возносятся к ползущим на восток тяжелым облакам, с перевернутыми пирамидами бразильских сосен, манящих их с вершины далекой розовой скалы к месту очередного ночлега. Он думал о том, как в самые тяжелые времена бледное тело Изабель кормило его пищей любви.

Изабель организовала свою жизнь, сообразуясь с отрывочными детскими воспоминаниями о своей матери и стремительной тете Луне, и стала выполнять роль молодой домохозяйки из среднего сословия. Принадлежать к среднему классу в Бразилии — это все равно, что быть аристократом в странах с более справедливым распределением богатств. Слуги здесь дешевле бытовой техники, и Изабель с самого начала завела служанку, которая выполняла обязанности и горничной, и кухарки, а позже, когда они переехали в дом неподалеку от Руа-Гренландиа, она наняла еще и гувернантку для ухода за детьми. Их у нее было трое: Бартоломеу, отпрыск религиозного пардуваску с эфиопскими глазами и кожей, лишь ненамного светлее, чем у Изабель, и появившиеся три года спустя близнецы Алуйзиу и Афродизия, непохожие друг на друга, но рожденные одной и той же струйкой спермы, брызнувшей в ее лоно поздней ночью во время перерыва между всплесками ламбады в «Сом ди Кристалл». По дороге в женский туалет она укрылась в чулане с едва знакомым ей мужчиной, работавшим вместе с Тристаном на текстильной фабрике. Он был поставщиком полистироловой нити и понравился ей своим загаром и крупным хищным лицом, хотя по крови он был практически белым. На какие-то несколько мгновений ей даже почудилось, что он бандейрант и она снова находится в стане на Мату Гросу. После того как эта неприличная проделка дала свой двойной урожай и ни в одном из непохожих друг на друга близнецов нельзя было обнаружить ни единого намека на природную гордость Тристана, на его светлые прямые волосы, — Изабель стала использовать оригинальное противозачаточное средство: она решила спать только со своим мужем. Изабель уже давно поняла, что его бесплодие и есть та цена, которую им приходится платить за силу своей любви. Их духовная страсть выжгла природные последствия телесного союза. Мог ли Тристан стать отцом с другими женщинами? Не бродит ли где-то в джунглях или в каком-нибудь другом месте маленький темнокожий Тристанчик с большими, как у лягушонка, глазами? Эти вопросы интересовали ее лишь умозрительно, словно они относились к истории чужой жизни. А в той жизни, которую дано прожить ей и которая сейчас, как чудилось Изабель, неслась с ужасающей скоростью, она вдруг стала испытывать нечто вроде жалости к Тристану, будто он стал ее жертвой, будто это она, а не Тристан, подошла к нему на пляже Кобакабана. Она носила тогда узкий купальник телесного цвета —

очень смелый для тех времен, в нем она издалека казалась обнаженной. И, конечно же, именно она вступила в сговор с колдуном и сделала Тристана белым человеком, чтобы отец принял его и обеспечил им безбедную жизнь. «Я не причиню вам вреда», — сказал тогда Тристан на пляже, хотя сам он прямо-таки излучал опасность и дерзость. Но разве сама Изабель не представляла опасность для Тристана? Ее переполняло чувство вины, когда она видела, с каким смирением он каждое утро надевает свой серый костюм и ведет купленный в комиссионке серый «Мерседес-Бенц» по лабиринту улиц к своему заводу в Сан-Бернарду, и иногда ни с того ни с сего спрашивала его:

— Не скучаешь ли ты по свободе и волнению тех дней, когда ты еще не знал меня?

Обычно этот вопрос задавался вечером, после возвращения с вечеринки или из оперы. Расстегнув пару пуговиц на рубашке, Тристан убирал запонки и заколку для галстука в маленький ящик бюро и выслушивал ее со свойственной ему поразительной серьезностью.

— Я жил как уличный пес, — отвечал он. — Через несколько лет меня убил бы либо полицейский, либо другой такой же уличный пес. С тобой в мою жизнь вошли надежда и смысл. Я не могу пожаловаться даже на тяжелые годы на прииске, ведь я возвращался с работы к тебе. Помнишь, я сидел на крыльце, дробил камни и мыл золото, а ты готовила пищу, убирала со стола и укладывала детей спать? Я никогда не знал большего счастья, Изабель.

— Не надо, Тристан! — кричала она, и слезы брызгали из ее глаз, как семя. — Не делай меня лучше, чем я есть на самом деле! Я превратила тебя в работа. Да, у тебя есть работа, но если по совести — она скучна и бессмысленна. Скажи честно, разве ты не ненавидишь меня?

Он отвечал ей по-прежнему мягким и почти бесстрастным голосом; возможно, он специально хотел наказать ее.

— Нет, у меня очень интересная работа. Я работаю с людьми, с мужчинами и женщинами, хотя, разумеется, женщин во властных структурах еще очень мало, и я должен вести их к достижению одной цели — к построению мира будущего. В Бразилии приходит конец эпохе рабовладения, и я, человек малокомпетентный, могу принести пользу, поскольку я был и рабом, и хозяином. Что же касается ненависти к тебе, чувство это перечеркнуло бы мою жизнь. Амазонка потечет вспять к Андам, если я буду ненавидеть тебя. Ты рабыня моей любви, моя голубоглазая негринья.

Он шел к ней через спальню — комнату со множеством подушечек, с красивыми занавесками и фотографиями в рамочках, изображающими Тристана и Изабель на отдыхе и детишек в школьной форме, — и останавливался перед женой, сидящей на обитом атласом пуфе у туалетного стола, и та видела, как бугрится его початок под ширинкой, ощущала его тепло, через черное сукно касалась его члена сначала кончиками пальцев, а затем и губами. Теперь они редко занимались любовью — богатая супружеская пара редко ходит в банк проверить содержимое своих сейфов, — однако когда они делали это, то сокровища их всегда оказывались на месте и всегда казались новыми, будто шкатулку с драгоценностями кто-то потряс, пока их не было.

Жизнь ее была полна забот, однако описать эти заботы едва ли возможно. Изабель отдавала указания слугам, одаривала любовью

детей, когда гувернантка приводила их перед школой или перед сном. Она составляла меню для Тристана и следила за тем, чтобы ленивые неряшливые служанки — все, как одна, с северо-востока — не забывали самым нахальным образом о домашних делах, проводя все время в сарае с пареньком-садовником. Она покупала одежду у Фиоруччи и Гуне Клос и планировала поездки за границу для себя и Тристана. Она стала играть в теннис, хотя главным в ее занятиях спортом были, конечно же, ленчи в тени зонтов, когда после игры ее спутницы во влажных от пота белых рубашках с коротким рукавом эффектно набрасывали на плечи кофточки и задорно болтали друг с другом.

Быть богатым бездельником вроде дяди Донашиану уже не было модным. Мужчины, даже обеспеченные, ходили на службу, работали и женщины моложе Изабель. В этом теперь был особый шик. Но Изабель уже было поздно устраиваться на работу. Ее образование было пущено по ветру искрометных речей о революции; Мату Гросу стало для нее чем-то вроде средней школы, научившей Изабель выживанию в исчезнувшем мире. Приятное безмолвие окружало ее прошлое; ее новые подруги не спрашивали, где она училась и как жила до свадьбы с Тристаном, ибо предполагали, что свое место в верхнем слое среднего класса она заработала в постели. Голубые глаза усиливали ее очарование, но и без очаровательных глаз ее бы повсюду принимали. У португальцев нет суеверного страха перед черной кожей, как, например, у народов Северной Европы. Они никогда не открещивались от Африки; бразилец открещивается только от чудовищной негритянской нищеты и порожденной ею преступности. Изабель с ее любезными манерами и пикантной шаловливостью была подтверждением для всех и каждого, что их общество в состоянии производить на свет такие черные украшения. Она занялась благотворительностью, и ее фотографии стали мелькать на страницах газет; на снимках она смотрелась темным пятном на фоне остальных участников собраний. Все любили ее, а с ней и ее мужа за их верность друг другу в мире, где не было ничего постоянного, все священное осмеивалось, а алчность разъедала всех и вся, губя целые корпорации и компании, которые, как трупы капибара, выеденные изнутри прожорливыми паразитами, рассыпались, испустив облачко зловонного дыма. Инфляция снова стала расти, достигнув тысячи процентов в год; Большие Парни продали будущее Бразилии международным банкам, а вырученные деньги истратили на себя. За эти годы в жизни Тристана и Изабель случались повышения по службе, ремонт дома, маленькие неприятности со здоровьем, одно-два дорожных происшествия, отпуска; Бартоломеу, Алуизиу и Афродизия мирно росли и ходили в модные католические школы. Случались и похороны: отец Изабель умер от атеросклероза и инфаркта миокарда, вызванных переутомлением и износом организма от многолетней работы за границей. В течение нескольких лет он болел и телом, и душой. То, что он нанял в слуги кудрявого рыжего дурака, было одним из первых признаков его болезни. Вся информация, содержащаяся в его большом и неустойчивом мозгу, все иностранные языки, протоколы, тонкости интриг к концу жизни окончательно перемешались у него в голове. К своему удивлению, среди его вещей Тристан и Изабель обнаружили тот золотой самородок, который Тристан когда-то выкопал на Серра-ду-Бурако и который он в последний раз видел, отдавая на хранение в банк; в конце концов этот

слиток оказался среди вещей заместителя министра по делам развития внутренних регионов. Рядом с этим самородком лежала непонятная записка: «Выделить половину средств от его продажи на обучение моего сына или, если для него это уже поздно, на обучение моего внука Пашеку». Пашеку? За этим именем что-то стояло, но Тристан никак не мог вспомнить, что именно. Кроме того, они не хотели ни с кем делить наследство. Честно говоря, они ожидали получить намного больше после смерти Саломана. На их банковский счет поступали суммы с большим количеством нулей, которое правительство время от времени сокращало, чтобы обуздать ненасытную инфляцию, но денег всегда не хватало или, по крайней мере, им казалось, что у друзей денег всегда больше, чем у них. Они ходили к зубным врачам, на чаепития, обеды, конференции, выпускные вечера, школьные футбольные матчи и детские концерты. Банальная монотонность буржуазной жизни, скрывающаяся под яркой личиной, не поддается описанию пером. Хотя эта глава и описывает самый длинный период жизни Тристана и Изабель, пусть она закончится именно этим предложением.

Снова квартира

С дядей Донатиану произошло нечто странное. В 1977 году развод наконец узаконили, и десять лет спустя он развелся с тетей Луной и женился на своей экономке, кухарке и давней сожительнице Марии. Через год она бросила его, и никто не мог понять почему. Дяде будто на роду было написано переживать романтические трагедии. Изабель жалела дядю Донашиану, и ее визиты в холостяцкую квартиру в Рио стали более частыми.

В ту роковую поездку Изабель уговорила Тристана провести с ней несколько дней предоставленного ему текстильной фабрикой рождественского отпуска. Они хотели было взять с собой детей, но потом решили, что праздничная атмосфера солнечного Рио слишком опасна для малолеток, ибо преступность, блуд толпы бездомных и голые люди в общественных местах стали для Рио обычным делом. Их дети росли избалованными, не знающими жизни горожанами, и присутствие скучающих взбалмошных ребятишек будет слишком обременительным для бездетного пожилого хозяина.

Дядя Донашиану принял их тепло и радушно: уход второй жены ударил его гордость, и он сильно постарел. В его волосах, зачесанных назад, подобно хохолку тропической птицы, появились седые пряди, которые чередовались с какой-то механической последовательностью, словно были сделаны некой тщеславной машиной. Руки у дяди тряслись от чрезмерных возлияний на сон грядущий, очарование его увяло, а манеры стали напоминать ужимки старой девы. В разговоре он то и дело бессильно делал паузы и принимал озадаченную, умоляюще-почтительную позу.

На смену подсвечникам, украденным Тристаном и Изабель много лет назад, пришли два почти таких же хрустальных подсвечника, а огромная люстра по-прежнему свисала из дымчатой стеклянной розы, по паучьи расставив бронзовые рожки. Тристан по-прежнему ощущал в этой квартире лучезарную тишину церкви, однако обстановка — подушки с бахромой, вазы в нишах, золотые корешки нечитанных книг — уже не казалась ему сказочной; все эти вещи выглядели немного потертыми и старомодными. Тристан и его друзья из Сан-Паулу предпочитали более грубые прямоугольные формы, резкий контраст черного и белого цветов, низкие торшеры, которые расплескивают

вокруг себя лужи слабого света, — иными словами, им нравился стиль современной конторы, несколько смягченный отсутствием сверкающего пластика, компьютеров и копировальных аппаратов. На фоне таких стандартных жилищ, апартаменты дяди Донашиану смотрелись гаремом, где на подушках должны возлежать в прозрачных одеяниях женские тела, которых, к разочарованию присутствующих, здесь почему-то не было.

— Что касается Марии, — попытался объяснить пожилой хозяин, когда терпкое аргентинское столовое вино развязало им языки, а обильно приправленный чесноком пату-ау-тукупи поднял настроение, — то, я думаю, она предпочла скромную зарплату служанки более обильным, но непонятым дарам супружеской жизни. Я заставлял ее тратить на себя деньги — покупать одежду, делать прически, маникюр, ездить на курорты, — но она каждый раз воспринимала мои слова как намек на то, что я считаю ее неопрятной, плохо одетой, пошлой и толстой — что было правдой. Но она была вольна не обращать на них внимания, — точно так же, как вольна была потакать или не потакать мне еще до нашей свадьбы. Но дело в том, что, став ей мужем, я для нее превратился в тяжкое бремя, потому что обернулся частью ее собственного тела, которой она не могла управлять, как нельзя управлять раковой опухолью. Я курю, и раньше она ничего не имела против этого, а тут вдруг мое курение начало страшно беспокоить ее, и она принялась меня пилить. По правде говоря, она пилила меня по любому поводу, хотя прежде была очень флегматична, что весьма успокаивающе действовало на меня. Девушками, которых я нанимал вместо нее, Мария оставалась недовольна: они бесчестные, неряшливые, небрежные, пустоголовые, интриганки — этой песне не было конца, никто ее не устраивал, и я менял служанок чуть ли не каждую неделю, так что порой Марии приходилось самой выполнять свои прежние обязанности. Тогда начинала она жаловаться, что после нашей свадьбы в ее жизни ничего не изменилось — разве что я перестал выдавать ей зарплату. Даже половая жизнь — прости меня, Изабель, за такие подробности, но ты теперь взрослая замужняя женщина — стала для нее каким-то обременительным представлением, хотя раньше она легко подчинялась любому, даже самым беспардонным капризам. Увы, грубый хозяин возбуждал ее гораздо сильнее, чем добрый супруг. Когда Мария сбежала, она оставила мне простую записку, написанную ее малограмотным, но красивым почерком: «Это для меня слишком».

— Мы с Тристаном обнаружили, — осторожно начала Изабель, раззадоренная тем, что дядя воспринимает ее как взрослую замужнюю женщину, — что нам легче заниматься сексом, когда мы прикидываемся, будто видим друг друга в первый раз и случайно оказались в одной спальне.

Такие подробности смутили и взволновали дядю. Поддразнивая его, она продолжила свои поучения:

— Женщинам тоже не по душе тирания секса, им тоже не хочется превращать в прочные социальные связи то, что, возможно, самой природой было задумано как преходящее исступление. Мужчины и женщины живут в разных царствах, и их соединение похоже на мгновенный бросок чайки, выхватывающей рыбу из воды.

— Если я правильно понял, — заметил более практичный Тристан, — то вам случалось бить Марию, не так ли?

— Очень редко, — поспешно сознался сконфуженный денди. —

Всего пару раз, да и то во времена моей бесшабашной молодости. Женщины, с которыми я тогда путался, были отчаянно легкомысленны, и я срывал свое недовольство дома на постоянной и верной любовнице.

— Вам это может показаться варварством, — предположил Тристан, — но возможно, став вашей женой, она начала воспринимать отсутствие побоев как признак недостаточной любви к ней, и ее извращенное поведение, которое вы описываете, было попыткой спровоцировать вас, заставить пустить в ход кулаки. У бедняков толстая шкура, и ласки влюбленного должны быть грубыми. Изабель с симпатией заметила про себя, что он думает сейчас о своей собственной матери и пытается оправдать ее грубое обращение с ним.

Прежде чем дядя Донашиану успел сменить тему разговора, Изабель воспользовалась возможностью задать еще один вопрос:

— А тетя Луна? Как ты думаешь, почему она бросила тебя?

Дядя словно онемел, и лицо его стало еще более зыбким и туманным, как в те давние вечера, когда он приходил к ней в комнату почитать сказку и скрепить поцелуем пожелание сладких снов. В полной тишине новая служанка, сменившая Марию, принесла десерт — фрукта-ду-конде с прохладным шербетом в высоких, похожих на тюльпаны вазочках, которые она грациозно поставила на стол.

— Я этого понять не могу, — признался наконец дядя Донашиану. — Бегство твоей тети — трагедия моей жизни. Расцвет ее молодости уже миновал, и она не нашла без меня счастья, — мне об этом сообщали из Парижа. Несколько раз она увлекалась женатыми мужчинами, которые никак не могли решиться оставить своих жен, потом у нее были молодые любовники, которые вытягивали из нее деньги, а сейчас у нее не осталось ничего, даже веры, поскольку она атеистка.

Пауза затянулась, и Тристан из вежливости сказал серьезным, деловым тоном:

— Вера необходима. Иначе придется принимать слишком много самостоятельных решений, и каждое из них будет казаться чересчур важным.

Однако дядя Донашиану продолжал смотреть на Изабель; на лице его, утонченном и усталом, вновь, как в те далекие вечера, когда он подтыкал вокруг нее одеяло, пролегли тени невысказанной тоски. Он продолжил:

— В моей жизни было две романтические трагедии. Второй из них стали отношения с твоей матерью, которая обращалась со мной чуть более любезно, чем следует обращаться с братом мужа.

— Возможно, вторая трагедия объясняет первую, — подсказала Изабель. — Тетя Луна чувствовала твою любовь к моей матери. Однако переступить через порог столь очевидной истины старик отказался, упрямо закачал головой.

— Нет. Она ничего не знала. Я сам едва ли отдавал себе отчет в этом.

— Пожалуйста, расскажи мне о моей матери! — вскричала Изабель с горячностью, которая вызвала раздражение у Тристана. По его мнению, Изабель слишком много выпила, у нее голова идет кругом от того, что уже несколько вечеров она свободна от забот о детях, а кроме того, она, как девчонка, хочет польстить своему дяде, отправившись с ним в путешествие по прошлому. Изабель приоткрыла

рот, будто показывала дяде бархатный язычок. — Я похожа на нее? Дядя Донашиану не сводил печальных глаз со своей племянницы, с копны ее кудрявых волос, больших золотых сережек, изящных рук цвета жженого сахара со множеством блестящих браслетов на запястьях. Ее платье без рукавов, словно ножны, одновременно и скрывало и украшало ее тело. Она пополнила, но совсем немного — килограмма на два.

— Да, ты унаследовала самую суть своей матери, — объявил он. — Она была женщиной, единственное предназначение которой — возлежать на кушетке в гареме. Говорят, в жилах андраидских Гуимаранов течет и мавританская кровь. Она ничего не умела: ни яйцо сварить, ни письмо написать, ни вечеринку устроить. Корделия ничем не могла помочь карьере твоего отца. Она не смогла даже родить второго ребенка. Еще когда твоя мать была жива, Изабель, она вверила твоё воспитание заботам слуг и Луны. Когда моя жена бывала с тобой, Корделия вела себя очень ласково. Свой решительный и нервный темперамент ты унаследовала от Луны; однако по своей страстной сути ты — неподражаемая Корделия.

С импульсивностью, которая не могла, по ее мнению, не понравиться мужу, Изабель — чтобы оба мужчины были рядом с ней, она заняла место во главе стола — схватила бледную руку Тристана своими пальцами, которые при свете свечи казались черными, как смолистое сладкое кофе, что подают в маленьких высоких чашках.

— Слышишь, Тристан? У нас у обоих были плохие матери!

— Моя мать не была плохой, она делала все, на что была способна, учитывая ее нищету, — угрюмо буркнул он.

Однако Изабель не хотела идти на попятную и отказываться от перспективы связаться с ним дополнительными узами. Она чувствовала, что он ускользает от нее, и не желала мириться с этим.

— Вот видишь! И это у нас тоже общее. Мы любим их! Мы любим своих плохих матерей!

Дядя Донашиану поднес чашку к губам и, потягивая кофе, переводил взгляд с Изабель на Тристана и обратно, почуяв небольшую напряженность между супругами здесь, где само окружение было родным только для одного из них.

— Все мы дети земли, — миролюбиво заметил он, — и можно сказать, что земля — плохая мать. Любить ее, любить жизнь как таковую — в этом наше торжество.

Они засиделись допоздна. Дядя Донашиану и Изабель вспоминали о ее матери, о тех днях, когда Рио был похож на бокал венецианского хрусталя, о поездках в Петрополис, чтобы скрыться от летнего зноя. Ах, Петрополис! Как великолепны императорские сады, по которым когда-то прогуливался сам Дон Педру с императрицей Терезой Кристиной и упрямой дочерью, знаменитой Изабель, которая бросила вызов общественному мнению и танцевала с мулатом, инженером Андре Ребосасом, когда принцесса-правительница объявила о конце рабства. Ах, какой это город, какие там каналы и мосты, площади и парки, поистине европейские по своей законченности и очарованию; готический собор Петрополиса — точная копия лондонского хрустального дворца; а какой вид открывался из ресторана на город и тонкий, как нить, водопад! С помощью дяди Изабель радостно отдалась воспоминаниям о тех восхитительных днях семейных праздников, когда отец сидел с ней рядом за столом, накрытом белоснежной скатертью, а худая и забавная

тетя Луна показывала Изабель, какими вилками пользоваться. Изабель была в то время любимым ребенком, разодетым в пышные прозрачные рюши. Ее окружали кланяющиеся официанты, далекая музыка и сверкающая, цветущая, текучая Бразилия — этакая Европа, лишенная напряженности и угрызений совести. Ах, помнишь тот день, когда в саду отеля ветер повалил шатер? А как белый пудель сеньоры Уандерли укусил повара, который жарил мясо на огне? А помнишь, как Марлен Дитрих и все местные немцы пообедали в «Ла Бель Меньер»!

Слушая их, Тристан начал нервничать: он не мог участвовать в их разговоре. Их мир был для него чужим. В Сан-Паулу он создал себе прошлое и мог в кругу друзей вспоминать события двенадцати лет. Однако теперь, если не считать тех случаев, когда дядя Донашиану поворачивался к нему и специально пытался вовлечь его в разговор каким-нибудь общим вопросом (а что вы, промышленники, думаете о последнем замораживании цен? А вас, молодых, так же, как и меня, пугают свободные выборы президента?), Тристану оставалось только пыхтеть кубинской сигарой да глубже забираться в скрипучее кожаное кресло, вытягивая вперед ноги и пытаясь подавить дрожь в мышцах. От нечего делать он разглядывал Изабель, лицо которой словно подернулось туманной дымкой и исчезло в воспоминаниях об идиллическом детстве. Она сняла туфли со своих стройных ног и забралась на изогнутую малиновую софу. Тристана подавляла теплота, соединявшая ее с дядей, она казалась ему нездоровой, как сигарный дым. Она удалилась в свой очарованный мир. Что ей нужно было от меня, думал он в облаках дыма. Ничего, кроме початка, початка незнакомца, который сделает грязную работу природы.

В конце концов хозяин с взъерошенной седеющей шевелюрой поковылял спать, а супружеская пара отправилась в свою спальню на втором этаже квартиры, расположенную рядом с прежней комнатой Изабель, которую Мария во время своего недолгого пребывания здесь в качестве жены превратила в кладовую. Окна спальни снизу доверху заливал искрящийся свет Рио.

— Любовь моя, не возражаешь, если я прогуляюсь немного? А то я надышался сигарным дымом. Я не привык к сигарам, как и к длинным застольным беседам.

— Я знаю, как мы с дядей замучили тебя, милый. Прости нас.

Дядя не вечен и потому ему нравится думать о прошлом. Будущего он боится. Он уверен, что на всенародных выборах победят коммунисты или какой-нибудь персонаж идиотского телевизионного сериала. Бедный старик так напуган.

Поняв, что каким-то образом обидела Тристана, Изабель прошла к нему через спальню; она уже скинула с себя зеленые ножные платья, и белое нижнее белье в двух местах разрывало черноту ее тела.

— У меня никого не осталось, кроме него, — сказала она томным горловым голосом. — Только он помнит, какой я была, когда... когда еще не утратила невинность.

— Да, он помнит, — согласился Тристан. — Помнит, что, несмотря на дорогой серый костюм, я остался тем же черномазым, с которым он запрещал племяннице встречаться двадцать два года назад. Он помнит, но ничего не может с этим поделать.

— А он и не хочет ничего делать, — сказала Изабель Тристану,

лаская его лицо и пытаюсь стереть пальцем гневные морщинки с высокого лба. — Он видит, что я счастлива, а больше ему ничего не надо. — Тонкие прямые волосы Тристана начали редеть, и лоб его казался от этого еще более высоким. Она нежно погладила лишённые волос виски. Ее настойчивость раздражала Тристана, и он дернул головой, чтобы стряхнуть ее руку. На безымянном пальце она носила кольцо с надписью «ДАР», которое ее отцу удалось выписать из Вашингтона взамен старого; но оно было хуже первого: гравировка на нем была небрежная, и выглядело оно менее древним, чем кольцо, снятое со старой американки в Синеландии; это тоже раздражало Тристана.

— Не один твой дядя сходит с ума по прошлому. Ты тоже забыла обо всем, вспоминая прежнюю роскошь, построенную на бедах других людей. Ты погрузилась в свои воспоминания, и я не мог дотянуться до тебя.

— Но я же вернулась, Тристан, — сказала Изабель. — Ты можешь меня потрогать. — Не отводя глаз от его обиженного лица — будто стоит ей отвернуться, и он ударит ее, — Изабель наклонилась и сняла трусики. На лице у нее застыло выражение шпионящей негритянки, у которой глаза широко раскрылись и она готова не то заплакать, не то засмеяться по первому же знаку. Если бы не светлые глаза, то Изабель своим внимательным обезьяньим личиком и пышной шевелюрой походила бы на одну из оборванных подружек Тристана из фавелы, на Эсмеральду, ту, что нравилась ему больше всех. Он чуть улыбнулся, и Изабель распрямилась. На фоне блестящего черного треугольника волос в паху кожа ее казалась коричневой. Пупок напоминал ямочку в дне котла с двумя черными ручками, ее бедрами, выгибающимися, как два огромных жареных ореха кешью. Когда он положил свою ладонь на ее тело, он увидел, что от загара, полученного на теннисном корте и во время занятий виндсерфингом, его собственная кожа тоже стала коричневой, хотя и другого оттенка. Волоски на его руке поблескивали медью.

— Я с радостью наблюдал за тобой и твоим дядей, — сказал он, и голос его устало перешел на баритон. — Вы действительно очень привязаны друг к другу — у вас одна кровь и общие воспоминания. Я совсем не сержусь. Мне просто печально находиться так близко от своего родного дома...

— Тристан, там больше нет ничего. Фавела стерта с лица земли, а на ее месте устроен ботанический сад и смотровые площадки для туристов.

Прогуливаясь по Ипанеме, они зашли в магазин Аполлониу ди Тоди, однако, судя по его записям, хрустальный подсвечник не был заложен. «Сохрани мой подарок, если хочешь, и зажги в нем свечу в ночь нашего возвращения».

— А если ты и найдешь кого-то из своих, — осторожно добавила Изабель, — они все равно тебя не узнают.

— Да, — вздохнул он. — Как же ты чутка, Изабель, когда дело касается моего прошлого, а не твоего. Однако тебе придется отпустить меня прогуляться по кварталу. У меня затекли икры и отяжелела голова. Я вернусь через несколько минут. Приготовься ко сну, дорогая. Я возьму с собой ключ и, если ты уснешь, скользну прямо в твои сны. На мне не будет одежды.

Она подошла поближе и, встав на цыпочки, прижалась губами к его устам.

— Иди. Но будь осторожен, — серьезно сказала она.

Это удивило его. Осторожен? В собственном городе? Сколько же ему теперь лет? Ей исполнилось сорок, ему — сорок один. Выходя из комнаты, Тристан оглянулся на нее; она скинула лифчик и, дразня его, встала у широкой кровати в позе стриптизерки. Ему вспомнилось, как она однажды спросила его: «Я все еще нравлюсь тебе?» Тристана страшно тянуло к Изабель, но он вышел из спальни и закрыл за собой дверь.

Снова пляж

Днем знойный воздух тропиков навеивает мысли о том, что ничего в этом мире не может быть доведено до конца, что человеку суждены распад и бессилие. Однако ночью атмосфера наполняется ощущением восторга и возможностью действия. Какое-то важное обещание ожидает в нем своего осуществления.

Старый японец за зеленым мраморным столом у входа почтительно кивнул, когда мимо него прошел господин в серебристо-сером костюме. Тристан толкнул прозрачную дверь, и соленый воздух ударил ему в ноздри. Он пошел в ту сторону, откуда доносилась едва слышная музыка ночных клубов и стрип-баров, расположенных вдоль Копакабаны. Витрины магазинов в Ипанеме уже были закрыты шторами; швейцары за стеклянными дверьми напоминали посетителей аквариума, в мутных водах которого плыл Тристан. В нескольких ресторанах еще горел свет и сидели посетители, мерцали не знающие сна вывески банков, но на тротуарах, мимо которых с шуршанием проносились автомобили, пешеходов почти не было, хотя еще не пробило полночь. Ближе к Копакабана света было больше, и люди встречались чаще, особенно возле гигантских отелей, куда желто-зеленые, как попугаи, такси доставляли одних и забирали других туристов. В витринах здешних магазинов сверкали подсвеченные ювелирные изделия, драгоценные и полудрагоценные камни: турмалины и аметисты, топазы и рубеллиты — все они были добыты в горах Минас Жераис.

За столиками, выставленными на тротуары, в ожидании ночной сделки сидели бедные и богатые, покупатели и продавцы, они сидели и болтали, потягивая сладкий крепкий кофе, словно им не было дела до того, что они теряют впустую время, которого уже никогда не вернуть. Вдоль этих столиков они с Эвклидом, бывало, ходили, выпрашивая подачки и высматривая болтающуюся туго набитую сумочку, которую можно срезать в мгновение ока. Неподалеку, в темных переулках, выходящих на Авенида-Атлантика, из домов вывалились пьяные, беззаботные туристы, которых после получаса, проведенного со шлюхой-мулаткой, можно было стричь, как овец.

Теперь он сам был облачен в дорогой серый костюм, и молодые женщины в легкомысленных нарядах, похожих на кукольные платица, выплывали навстречу, словно их тянуло к нему магнитом, изредка попадались и мужчины в джинсах в обтяжку, лица их были размалеваны почти столь же замысловато и тщательно, как у индейцев. Тристан шагал, никуда не сворачивая, по черно-белым диагональным полосам тротуара, и ему не нужно было ничего, кроме поцелуев ночного ветерка, обрывков самбы и форро, доносившихся до него веселых голосов, ароматов кофе, пива и дешевых духов. Голова его очищалась от затхлого дыма прошлого и от жгучего осознания истины, что он никогда не сможет владеть ею полностью. В квартире эта мысль подавляла его, потому что попытка овладеть ею неисправимо

изуродовала его жизнь, и теперь ее облик был отмечен печатью вины и замаран убийством и бегством.

Ему хотелось очистить свое сознание от этих спутанных, никчемных, путающихся, бесполезных мыслей. Тристан тоже тосковал по былой невинности. Он пересек бульвар, сошел с тротуара на песок пляжа, сел на скамейку, снял черные туфли со шнурками и шелковые носки в рубчик и спрятал их под кустик пляжного горошка около скамейки. Как чудесно, что в 1988 году маленькие кустики пляжного горошка и морского винограда растут здесь так же, как и в 1966-м, хотя мимо них прошло бесчисленное количество ног.

Босые ступни продавливали теплый верхний слой песка, ощущая прохладу более глубокого слоя. На освещенных площадках маячили силуэты тощих беспризорников, азартно игравших в футбол. Тристан спустился ниже, во тьму — туда, где море, накатывая на берег и отступая, оставляло на песке полосы. Непрерывный ритмичный гул моря, его влажное сонное дыхание заглушали собой более слабые уличные шумы и звуки музыки, но не поглощали их полностью.

Южный Крест, похожий на небрежно склеенного бумажного змея — маленький, хрупкий, лишенный центральной звезды, — висел на безлунном небе у самого горизонта. Над головой, пробиваясь сквозь ночное сияние Копакабаны, горели случайные узоры созвездий, распространяя свое древнее сияние. Под ноги Тристану опрокидывались маленькие волны ряби, и песок, впитывая волну, начинал слабо фосфоресцировать. Мерцающие песчинки сияли, как духи, да это и были духи, как казалось Тристану, такие же живые, как и он. Он шел по зыбкому призрачному слою ускользящей пены, и мокрый песок засасывал его босые ступни, а волны, набегая, лизали его лодыжки — все эти ощущения были знакомы ему с детства, когда этот пляж и вид на море, открывавшийся от дверей хижины, были единственной доступной ему роскошью.

Когда огни шумного бульвара отступили вдаль и его глаза могли различить собственное сияние волнующейся пены, перед ним вдруг возникла человеческая тень, а еще две тени заступили ему за спину. В звездном свете сверкнул недлинный нож.

— Ваши часы, — сказал по-английски высокий, срывающийся от страха мальчишеский голос и повторил фразу по-немецки.

— Не дурите, — ответил Тристан невесть откуда появившимся теням. — Я один из вас.

Акцент кариоки ошеломил нападавших, но не повлиял на их решимость.

— Часы, бумажник, кредитные карточки, запонки, все, быстро, — сказал мальчишка и добавил, словно пытаюсь сохранить контроль над голосом, — ты, блядский сын!

— Ты, наверное, хотел оскорбить меня, но назвал ты меня правильно, — ответил ему Тристан. — Идите и вы к своим мамашам-шлюхам, я вас не трону.

Его взрослый голос задрожал от возбуждения, когда поток адреналина хлынул в его грудь. Он почувствовал острие второго ножа меж лопаток, и рука третьего мальчика проворной ящерицей скользнула к нему во внутренний карман пиджака и вытащила бумажник. Прodelала она это дерзко и нежно, словно пацан был его собственным сыном, решившим пошалить с отцом, и это одновременно рассмешило и разозлило Тристана. На далеком бульваре развернулся автомобиль, и в полоснувшем по пляжу свете фар он

разглядел лицо стоящей перед ним тени — это было сверкающее, остекленевшее от напряжения лицо маленького черного мужчины. Тристан успел даже прочесть надпись на футболке мальчишки: «Черная дыра» — наверное, название какого-то нового ночного клуба. — Тебе нужны мои часы? Вот они. — Подняв руки над головой, как танцор, Тристан расстегнул металлический браслет часов, показал им, что это «Ролекс», а тяжелый браслет сделан из золота и платины — и швырнул часы в мерцающее море. — Вот падла! — закричал от удивления стоящий перед ним мальчишка.

Нож уперся в спину Тристану, словно тросточка или палец, скользнул сквозь пиджак и кожу сначала совершенно безболезненно, а потом с яростным жжением, которое невыносимой болью мгновенно распространилось по его телу. Он потянулся к поясу за своей бритвой, но ее там не оказалось: «Бриллиант» был ему другом в другой жизни; Тристан рассмеялся и хотел было объяснить это и еще многое другое мальчишкам, которые вполне могли бы оказаться его сыновьями, но те, одурев от ужаса и чудовищности своего поступка, движимые чувством солидарности, разом навалились на Тристана, били и кололи ножами повалившегося белого человека в назидание другим людям, считающим, будто они владеют всем миром. Шумно вздыхало море, хрипели и стонали мальчишки и их жертва, скрежетал по кости металл.

Тело Тристана рухнуло в нахлынувшую пену, которая быстро понеслась назад и перевернула его, оставив лежать на песке. Мальчишки лихорадочно попытались пинками затолкать его в следующую волну, но он был еще жив, и рука его клещами вцепилась в лодыжку двенадцатилетнего мальчика, который заорал, будто его схватил призрак. Потом рука ослабела, мальчишка вырвался и вместе со своими друзьями кинулся наутек, вздымая тучи песчинок босыми ступнями. Потом мальчишки бросились врассыпную, исчезая каждый в своем коридоре мрака по ту сторону шумной Авенида-Атлантика. Тристан ощутил, как пульсирующая соленая вода замещает в его жилах уходящую кровь, потерял сознание и умер. Его труп болтался между кромкой прибоя и песчаной отмелью метрах в пяти от берега, которая не давала морю унести его за горизонт. Океанские валы переваливались через отмель, поднимая сверкающие в лунном свете облака брызг; пенящиеся струи ласково обвивали тело Тристана, его светлый костюм намок и потемнел, а вода все продолжала кувыркать труп, то вышвыривая на берег, то унося к песчаной отмели.

Изабель после выпитого виски сразу провалилась в сон, но потом проснулась от пригрезившегося ей кошмара, в котором все ее дети — и пропавшая пара, и холеная троица, оставшаяся в Сан-Паулу, — осаждали ее, требуя то ли завтрак, то ли свежую одежду, то ли денег на кассеты — а она была словно парализована и не могла ничего поделать. Она плавала среди их напряженных лиц и ощущала подступающий к сердцу ужас. Во сне все ее дети были одного возраста и едва доставали ей до пояса, хотя на самом деле одни из них были еще слишком малы, а другие уже давно выросли. Невыразимый пресс их настойчивости требований оборвал покой ее тела; она проснулась, и теперь чувство ужаса вызывала уже пустота рядом с ней, — там, где Тристан обещал быть без одежды. Пространство это, которое она

сначала игриво обследовала ногой, а потом испуганно обшарила рукой, было прохладным и гладким.

Изабель вскочила с постели, запахнулась в длинный белый халат, который принадлежал когда-то тете Луне, а теперь висел в ванной для гостей, и пошла обследовать квартиру. Она заглянула на балкон, открыла все двери, чтобы посмотреть, не свернулся ли муж калачиком на кушетке. На часах было пятнадцать минут шестого. Она позвонила консьержу, и сонный японец сообщил, что господин вышел незадолго до полуночи и пока не возвращался. Она постучала в дядину спальню. Разбудить его было невозможно: он принял снотворное, заткнул уши и прикрыл глаза черной маской. Изабель вошла в спальню и растолкала его. Сначала он хотел было отмахнуться от всего происшествия, — дескать, обычное дело, муженек просто загулял, утром вернется с повинной и пройдет через очистительную супружескую сцену, — но слезы и рыдания Изабель, которую охватили дурные предчувствия, заставили его наконец позвонить в полицию.

У полиции в Рио хлопот полон рот, а зарплату блюстителей порядка стремительно обесценивает инфляция. Как и повсюду на земле, близость к отбросам развращает полицейских. Ужасающая нищета раздражает их, и потому они препоручают наведение порядка в фавелах наркодельцам. Полиция тонет в волне преступлений, вызванных нашей склонностью к греху и беспорядкам, да и упразднение религиозных ограничений не облегчает им жизнь. И все же где-то нашелся дежурный, который, сняв трубку, отлучился, чтобы все выяснить, и, вернувшись, устало сообщил, что в ночных рапортах не упоминаются люди, похожие по описанию на Тристана. Дежурный тоже был склонен отнестись к исчезновению мужа легкомысленно, но после того, как дядя Донашиану сообщил ему о своей влиятельности и связях, он согласился прислать полицейского. Изабель не могла ждать. Надев на босу ногу кожаные сандалии и накинув халат, она со слепой решимостью лунатика отправилась на Кобакабану. Дядя, поспешно натянув брюки и белую рубашку без галстука, задыхаясь, последовал за ней следом, пытаясь на ходу успокоить и обнадежить племянницу. В душе Изабель возникла зияющая пустота, которую можно было заполнить только одним способом: нужно идти вперед, пока эта страшная ступка вакуума не обнаружит свой пестик.

Суэта вокруг ночных клубов затихала, и на улицу вываливались веселившиеся в них люди в легкомысленных блестящих нарядах — лица их были пусты, а в ушах стоял звон от испытанного наслаждения. Время от времени попадались навстречу такси, и свет их фар казался все более тусклым и ненужным. Уже появились на тротуарах первые бегуны, трусившие по утренней прохладе. Невидимые ночью облака обрели четкие очертания — по серо-коричневому, начинающему светиться небу над группой островов поплыли синие замки и лошадиные головы.

Да, он должен был пойти именно сюда, к этому песку, где следы, оставленные некогда их молодыми ногами, затерялись среди миллионов других отпечатков, и спрятать свои туфли именно там, где она нашла их, — под кустиком пляжного горошка. Он должен был пойти вдоль вздымающегося подола моря, вспоминая, каким он был прежде, до того, как она навязала ему чудо. Она еще издали заметила черный разрыв на бледной ленте морской пены — словно на мокрый песок, который отражал светящееся небо, выбросило пук водорослей. Повинуясь дыханию моря, волны накатывали на этот пук водорослей и

отступали прочь. Изабель не остановилась и не побежала к этим водорослям; сняв сандалии, она пошла вперед, ступая по воображаемым следам Тристана, хотя море давно уже смыло их. Он лежал ничком, и его безупречные зубы обнажились в вежливой улыбке; рука его лежала под головой — он спал в такой детской позе. Его полуоткрытые глаза с закатившимися зрачками блестели, как осколки выброшенной на песок раковины. Волны обрушивались на берег, устраивая маленькие водовороты вокруг его ступней, которые окаменели, уткнувшись пальцами в песок под прямым углом. «Преданность», — говорило его окоченевшее тело, прижимаясь к песку пляжа.

Дядя Донашиану и упитанный молоденький полицейский догнали ее. В предрассветной мгле на пляже начала собираться толпа: танцоры, официанты, шоферы такси, девицы легкого поведения в вечерних нарядах, банкиры, владельцы магазинчиков и домохозяйки, начинавшие свой день с пробежки по Копакабана, — все шли поглазеть на труп. Рядом с трупом вырос лес коричневых ног. Сморщенный старый лавочник с белой щетиной на загорелом лице уже выставил свой столик на тротуар и продавал желающим кокосовое молоко, кока-колу и вчерашние холодные пирожки. Какой-то чернокожий мальчуган с круглыми, как у жука, глазами принес пустой бумажник Тристана, который он нашел у обочины, и долго смотрел сначала на полицейского, потом на Изабель, а потом и на дядю Донашиану, ожидая вознаграждения. Получив пачку крузейру, он побежал прочь, крылья песка вспархивали из-под его ног. Убийцы суеверно оставили в бумажнике фотографию молодых Изабель и Тристана, склонившихся друг к другу за столиком в Корковаду, и плоскую, как бритва, медаль святого Христофора. Неужели она и есть та набожная девочка, что подарила ему эту медаль в первые недели их тайной страсти? В воздухе витали многочисленные вопросы, люди расспрашивали друг друга о происшедшем, сочувственно переговаривались вполголоса и выжидающе смотрели на Изабель: толпа хотела, чтобы она рыдала, выла и вообще выражала свое горе запоминающимся способом. Однако горе ее было строгим и скупым, а чувства упорядочены, как потрескавшийся, истертый, но по-прежнему хранящий симметрию античный узор.

Она вспомнила историю, которую прочла в те первые дни на Серра-ду-Бурако, когда она еще не связалась с маникюрщицами и не родила Азора с Корделией. Чтобы чем-то заполнить одиночество в хижине старателя, она читала обрывки рассказов на смятой и засаленной бумаге, в которой на прииск поступали инструменты и припасы, и большей частью рассказы эти были о любовных приключениях и скандалах из жизни знаменитостей. Один из них повествовал о женщине, жившей очень давно, которая после смерти любимого легла рядом с ним, пожелала умереть и умерла. Она умерла, чтобы показать силу своей любви.

В ожидании кареты «скорой помощи» тело Тристана оттащили выше кромки прибоя. Песчинки прилипли к радужной оболочке остекленевших глаз и сахарной пудрой обсыпали искривленные губы. Изабель легла рядом с мертвецом и поцеловала его глаза и в уста. Кожа его уже приобрела горьковатый привкус водорослей. Толпа, осознав величие ее поступка, почтительно притихла. Только дядя нарушил тишину, вскричав: «Ради Бога, Изабель!» — смущенный столь вульгарным проявлением бразильского романтизма.

Изабель вплотную придвинулась к Тристану, распахнула халат, чтобы мраморное лицо мужа прижалось к ее теплой груди, обвила рукой его влажный, подсыхающий костюм и приказала своему сердцу остановиться. Она уедет на теле своего возлюбленного, как на дельфине, в подводное царство смерти. Изабель знала, что испытывает мужчина перед половым актом, когда душа его вытягивается, окунаясь в сладострастный мрак.

Однако восходящее солнце по-прежнему било красными лучами в ее закрытые веки, а химические вещества в ее организме продолжали свой бесконечный обмен, и толпе стало скучно. Сегодня чудес не будет. Не открывая глаз, Изабель услышала, как люди снова зашумели и начали потихоньку расходиться; затем гомон человеческой толпы прорезал далекий сигнал кареты «скорой помощи»; она гудела в свой гнусавый рожок, как злобный клоун, и ехала забирать Тристана, точнее говоря, тот хлам, в который он обратился. Дух силен, но слепая материя еще сильнее. Впитав в себя эту опустошающую истину, черноглазая вдова, шатаясь, поднялась на ноги, запахнула халат и позволила дяде отвести себя домой.

Послесловие

В этой книге использованы два великих труда: «Мятеж в глуши» Эвклида да Кунья в переводе Сэмюэля Путнема и «Печальные тропики» Клода Леви-Стросса в переводе Джона Рассела. «По бразильским лесам» Теодора Рузвельта — книга, может быть, и незначительная, но я счел ее занимательной и информативной. Полезными также оказались «Красное золото» Джона Хемминга, «Хозяева и рабы» Жилберто Фрейра, «Бразилия» Элизабет Бишоп и редакторов журнала «Лайф» и два путеводителя по стране из серий «Реальный гид» и «Одинокая планета», написанные множеством молодых и смелых авторов. «Роман о Тристане и Изольде» Жозефа Бедье в переводе Хилейр Беллок и Пола Розенфельда задал тон моему повествованию и общую ситуацию. А вдохновили меня на труд и дали мне местный колорит поистине бразильские произведения Иохима Махаду де Ассиса, Грасильяну Рамоса, Кларис Лиспектор, Рубена Фонсека, Аны Миранды, Жоржи Амаду и Нелиды Пиньон. Благодаря помощи Луиса Шварца и его коллег из «Компанийа-Дас-Летрас» в Сан-Паулу, были исправлены многие ошибки и несоответствия; если что-то и осталось, виноват в этом только я.

Джон Апдайк

notes

1

Мука.

2

Сока.

3

Автор, по-видимому, имеет в виду блюдо из маниоковой муки с кусочками рыбы.

4

Глубинки, глухих внутренних районов Бразилии.

5

Исторический документ XVIII века, с которого началась борьба за независимость Бразилии.

6

Уроженец Бразилии, метис от индианки и белого.

7

Мулат.

8

Проститутке.

9

Метис от негритянки и индейца.

10

Жители внутренних неосвоенных районов Бразилии.

11

Водкой.

12

Дон Педру Сегунду, или Дон Педру Второй, – вице-король Бразилии накануне обретения независимости в конце XVIII века.

13

Сушеное мясо, обычно козлятина.

14

Отряд авантюристов, отправлявшихся во внутренние районы Бразилии за золотом и рабами в XVII–XVIII веках.

15

Идолы бразильских негров-рабов.

16

Имеются в виду «Дочери Американской Революции».